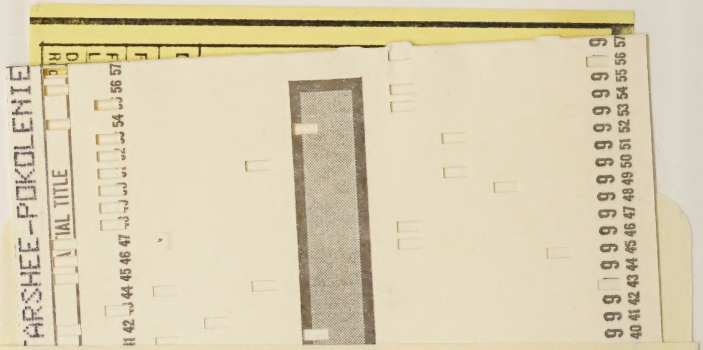
PG3337
.P55
Z8
1923a
t. 1

USHKINSKAIA PLEIADA

STARSHEE POKOLENIE

★

ROZANOV



THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

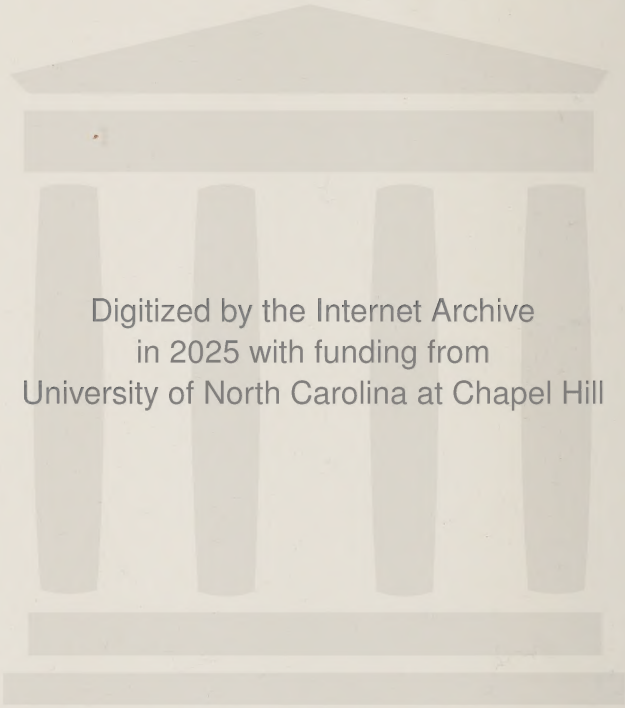
ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3337
.P55
Z8
1923a
t.1

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
DEC 21			

Form No. 513, Rev. 1/84


Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/pushkinskaiaplei01roza

* * *

This is an authorized facsimile of the original book, and was produced in 1970 by microfilm-xerography by University Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

* * *

Розанов, Иван Николаевич.
PG3337
P55
Z8
1923a

И.Н.РОЗАНОВ

ПУШКИНСКАЯ ПЛЕЯДА

V. 1

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

МОСКВА
1923.

PHOTODUPLICATION SERVICE
WASHINGTON 25, D. C.

И. Н. РОЗАНОВ

РУССКАЯ ЛИРИКА

Т. II

ЗАДРУГА

PG 3337
.P55Z8

326365
25

Главлит. № 3035. Тираж 4.000 экз.

Тип. „Полиграфич. Искусство", Крестовоздвиженский, д. 9.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Ф. Тютчев.

СУДЬБА ПЛЕЯДЫ

I.

Пушкинская эпоха — золотой век русской поэзии. В то время, по словам И. С. Тургенева, «литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их — не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность — и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали». Действительно, никогда не было у нас потом такого бережного, любовного и благоговейного отношения

к слову, как к одному из высших проявлений творческих сил человека.

Позднее литература обогатилась более тонким психологическим анализом, более углубленным отношением к загадкам бытия, более страстными призывами к общественности. Но обработка художественного слова, что должно быть самым основным и существенным для всякого писателя-художника, с тех пор мало подвинулась вперед. Здесь Толстой, Достоевский сделали меньше, чем Гоголь и Лермонтов, не говоря уже о Пушкине. «То был век богатырей» художественного слова. «С тех пор прошло слишком тридцать лет», — писал тот же Тургенев в 1868 г., — но «мы еще не произвели ничего равносильного».

Что называть «Пушкинской эпохой»? В своей книге «Поэты пушкинской поры» Юрий Верховский началом ее признает условно первое поэтическое выступление Пушкина (1814 г.), концом, тоже условно, год его смерти (1837 г.). Практически приблизительной конечной датой берет он 1840 г. Можно было бы еще несколько раздвинуть, и конечной датой великой эпохи считать 1842 г., год появления «Мертвых душ», начатых еще при жизни Пушкина, по его инициативе и с его благословения.

По нашему мнению, пушкинская эпоха делится на два основных периода. В пер-

вый — царит «идеал соразмерностей прекрасных», «вольнолюбивые мечты» и девиз: «живи и жить давай другим». Время исключительного господства поэзии стихотворной. Во второй период прежняя гармония нарушена. Врываются сатира и протест. Стихи и проза становятся равноправными. Появляется Гоголь, повести Пушкина. Лермонтов количественно больше пишет прозой, чем стихами.

По отношению к центральной фигуре эпохи — Пушкину, первый период был временем расцвета прижизненной пушкинской славы; второй — характеризуется заметным охлаждением к нему и поисками новых кумиров.

Водоразделом этих двух периодов можно считать — условно же — 1830-й год, когда у Пушкина вырывается горькое, но гордое признание:

> Поэт, не дорожи любовию народной:
> Восторженных похвал пройдет минутный шум...

Первый период — медовый месяц русской поэзии. В это время на литературное поприще выступало исключительно богатое поэтическими дарованиями пушкинское поколение.

Три главных представителя этого поколения: Пушкин, Боратынский и Тютчев являются величайшими мастерами русского стиха.

во многих отношениях не превзойденными. И тот, кто хочет проникнуть в тайны словесной инструментовки, тайны ритма, гармонии и выразительности, — должен изучать их произведения строчку за строчкой, эпитет за эпитетом.

Но значение этих великих русских поэтов не ограничивается, конечно, достоинствами их стихотворной техники: чем больше проходит времени, тем глубже становится и понимание их поэзии, тем выше оценка их лирического, идейного и философского значения.

Это — вершины, но в этой горной цепи и средний уровень стихотворческой техники необычайно высок. Юр. Верховский склонен признать «подлинность всей тогдашней поэзии — в проявлениях крупных и мелких — одинаково».

«Не пишет ли тогда третьестепенный, незаметный поэт превосходными стихами? — восклицает он. «Не чувствуете ли вы классической стройности и законченности в самых мелких поэтических безделушках 20-х — 30-х годов?»

Согласно с нашим делением пушкинской эпохи на два периода, нам трудно согласиться с таким суммированием двадцатых и тридцатых годов: сказанное Юр. Верховским можно относить только к двадцатым.

«Пушкинскую плеяду» не следует смешивать ни с «пушкинской школой» ни с «поэтами пушкинской поры».

Майков принадлежал к пушкинской школе, но не к поре и не к плеяде.

Школа — это последователи, эпигоны, ученики. Поэты пушкинской плеяды — не ученики Пушкина, не те, кто, по выражению одного критика, затеплили свои свечечки от пушкинского огня, а его соратники, вместе с ним выступавшие и боровшиеся за те же поэтические достижения. Пушкин только лучший певец из этого хора, но не дирижер. Дарования эти складывались рядом с Пушкиным, находясь в тех же литературных условиях, питаясь теми же влияниями. Влияние самого Пушкина на них несущественно.

Козлов и Полежаев могут быть названы поэтами пушкинской поры, но нам кажется неправильным, хотя это часто делается, относить их к «плеяде». Первый — самый крупный представитель школы Жуковского, второй — непосредственный предтеча Лермонтова. Если пушкинская техника отразилась на их стихах, то то же можно сказать и о Жуковском 30-х годов: проживи Державин еще лет десять, и он, возможно, не избежал бы этого всепроникающего влияния.

Не следует относить к пушкинской плеяде и Дениса Давыдова: некоторые из лучших его

произведений были уже написаны им, когда Пушкину было всего четыре года.

По тем же основаниям, как Козлов, должен быть исключен из плеяды и Федор Глинка [1]).

Из поэтов, остановившихся на полдороге между Жуковским, Батюшковым и Пушкиным, только тех можно относить к пушкинской плеяде, которые ближе к великому поэту по возрасту, напр., Плетнев и Катенин; последнего, впрочем, с оговоркой.

II.

Под пушкинской плеядой, в тесном смысле, надо понимать нескольких поэтов, тесно связанных с Пушкиным не только единством взглядов на задачи поэзии, но и личной дружбой и взаимным уважением.

Сюда относятся, прежде всего, двое остальных из поэтического триумвирата: Дельвиг и Боратынский. Потом Плетнев, приятель их и Пушкина. По смерти Дельвига, Пушкин писал Плетневу: «считай, сколько осталось: Боратынский, ты и я...» Несколько дальше стоял от них Языков, но его, как крупную

[1]) Козлов, Ф. Глинка, Д. Давыдов, Гнедич были рассмотрены нами в книге, посвященной предшественникам Пушкина, «Русская Лирика», 1914, изд. «Задруги».

поэтическую силу, охотно признали своим перечисленные нами поэты. Пушкин, как известно, подружился с ним в Тригорском. Сюда же надо причислить и Вяземского, в обращении к которому, уже после смерти Пушкина, Боратынский употребил выражение: «звезда разрозненной Плеяды».

Слово «плеяда» для обозначения поэтов — ближайших друзей Пушкина — было употребительно уже в 30-х годах. Из них ближе всех к великому поэту был, конечно, «брат названный» Дельвиг. В их дружеских отношениях было много нежности, проявлявшейся, с точки зрения нашего времени, несколько странно. Кери была свидетельницей, как однажды Пушкин и Дельвиг целовали друг другу руки. После смерти Дельвига, самым близким человеком Пушкина в Петербурге стал Плетнев. Оба — и Дельвиг и Плетнев — благоговели перед гением своего друга.

У Боратынского было и некоторое соревнование с великим поэтом. С Вяземским — Пушкин сам любил вступать в состязание, любил, подражая, превзойти; на нем Пушкин пробовал свои силы: из ученика (в молодости он ценил Вяземского, как поэта) легко делался его учителем. Наконец, на Языкова возлагал он в 20-х годах особенные надежды. О нем писал он в 1826 году Вяземскому: «Ты изумишься, как он развернулся и что из него

будет. Если уж завидывать, то вот кому я должен бы завидывать. Аминь, аминь глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет».

Только Плетнева никто, ни тем более он сам, воплощенная скромность, не считал крупным поэтом. Но по своим дружеским привязанностям и верности духу плеяды, он был неотделим от Пушкина, Дельвига, Боратынского. Стихи их он не только любил, но и изучал: знал «до малейшего оттенка всякий в них эпитет или другое что».

В этой атмосфере царил культ стиха. Здесь не нужно было доказывать, и так было всем ясно, что тот, кто хочет стихами выразить идею, которую он почему-либо считает ценной, или излить свои добрые чувства, и в то же время неспособен любоваться самым сочетанием слов, упиваться звуками стихотворной речи, — тот напрасно злоупотребляет стихотворной формой.

Из них Вяземский от природы был, может быть, менее наделен музыкальной восприимчивостью, чем остальные, но и он с детства зачитывался прейс-курантами винторговцев, лаская свой слух благозвучными названиями, в роде Lactima Christi. Дельвиг же обладал недурным голосом и сам, аккомпанируя себе на рояле, пел свои романсы. «Вдохновенное» чтение стихов Языкова навсегда оставалось в памяти у слушателей.

У нас есть ряд доказательств, что поэты пушкинской плеяды: Дельвиг, Плетнев, Языков, как и сам Пушкин, читали стихи несколько нараспев, сближая их, таким образом, с «песнями». Другая манера чтения, широко распространившаяся впоследствии, — декламационная, введена была в моду артистами, т.-е. людьми, для которых поэзия была делом посторонним.

Не было тогда, или почти не было, и профессиональных критиков, которые ни в какой степени сами не владея стихотворной формой, с ученым видом знатока изрекали бы приговоры над стихами поэтов. За критику брались поэты же, из плеяды, больше всего Вяземский и Плетнев, затем Пушкин и Дельвиг, реже Боратынский. Все они, кроме Боратынского, чувствовали также склонность к журналистике. Только Языков чуждался всего этого, желая быть исключительно поэтом и никем больше.

Вяземский принимал близкое участие в «Московском Телеграфе», Пушкин — в «Московском Вестнике». Дельвиг был издателем собственного журнала «Литературная Газета»; пушкинский «Современник», после его смерти, перешел к группе его друзей, а потом единолично к Плетневу.

Большое значение в жизни плеяды имели и альманахи 20-х годов, особенно «Северные Цветы», издаваемые ежегодно Дельвигом, на-

чиная с 1825 года. Последняя книжка, уже после смерти барона, издана была в 1832 г. Пушкиным.

По свойству темперамента и обстоятельствам жизни—не Пушкин, а Дельвиг был средоточием и цементом названной группы. Авторитет его, как тонкого и чуткого ценителя поэзии, стоял очень высоко. И не мудрено: первыми своими шагами на поэтическом поприще и Боратынский и Плетнев считали себя обязанными Дельвигу. Ему же одному выпало на долю счастье знать Пушкина с детства и с детства делиться с ним поэтическими помыслами.

Когда Дельвиг умер, и связи между некорыми его друзьями стали распадаться. Между Пушкиным и Боратынским заметно стало охлаждение.

Если Дельвиг — сосредоточие поэтов пушкинской плеяды, то Вяземский ее периферия. Этому соответствует и разница в их долголетии: Дельвиг умер 32 лет, Вяземский—86 лет. По степени лиризма, по внешней отделке стиха он уступает трем главнейшим представителям пушкинской плеяды, но по тому положению, которое он, «фельдмаршал русского ума» — выражение Тютчева — занимал среди других поэтов, по резкому своеобразию поэтической физиономии,—в истории плеяды ему надо отвести одно из первых мест.

Что касается Языкова, то никто изъ поэтов пушкинской плеяды, даже самъ Боратынскій, не имѣлъ такого шумного, широкого успѣха, какъ Языковъ въ молодости, этотъ «князь русскаго стиха». Стихъ его, разгульный и звонкій, поразилъ даже въ ту эпоху, когда публика избалована была хорошими стихами.

Недавно[1]) была выдвинута классификація лириковъ на три основныхъ типа: пластическій (Дельвигъ), музыкальный (Языковъ) и рефлекторный (Боратынскій, Вяземскій).

Современники Пушкина не нуждались въ такой классификаціи. Для нихъ существовала только старая и новая поэтическая школа. Новая носила названіе романтической... Во главѣ ее, если не считать хронологическаго первенства Жуковскаго, стояли Пушкинъ, Боратынскій, Дельвигъ, Языковъ. Всѣхъ ихъ въ двадцатые годы, въ эпоху наиболѣе ожесточенныхъ споровъ за и противъ романтизма, считали главными нашими романтиками. На нихъ метались громы и молніи и писались ядовитые пародіи въ органахъ литературныхъ староверовъ.

Главные упреки были тѣ же, какіе обычно раздаются по адресу всякихъ поэтическихъ новаторовъ: «это безвкусица! Развѣ это поэзія? Это—непонятно. Это—даже безнравственно!»

---

[1]) Юр. Верховскій. См. «Труды и дни». Сообщенія Ю. Верховского и возраженія ему.

Такъ же вступит. статья въ книгѣ «Поэты пушкин. поры».

Такими возгласами встречены были в недавнее время и Бальмонт с Брюсовым и Блок и Маяковский.

Староверы двадцатых годов возмущались «сплетением противоречивых понятий», напр., «беспокойство, тихих дум», «говорящее молчание», «веющий сон», «знакомый незнакомец», или, напр., в стихах

И мне сиял он неизменно
В моих изменчивых мечтах.

Между тем этот прием узаконен был еще в древности и носит в теориях словесности особое название—«оксюморон». В наше время им особенно охотно пользуется Анна Ахматова, никаких ужасов ни в ком не возбуждая.

Смотри: ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.

Въ стихах Пушкина и его соратников (особенно нападали на Дельвига и Боратынского... Языков выступил на литературное поприще несколько позже, когда почти все стрелы были уже разметаны и колчаны врагов опустели) в их стихах считали недопустимыми такие банальные теперь для нас эпитеты, как «сладкий трепет», «жизнь молодая». Если можно назвать трепет сладким,—острил один критик,—то почему не сказать «кислый трепет». «Руслан и Людмила» признано было произведением, оскорбляющим

нравственность (отзыв маститого И. И. Дмитриева) и по грубой простонародности некоторых выражений, стоящих вне пределов искусства (мнение Качановского)... В стихах Пушкина, Боратынского, Дельвига выливались отдельные, особенно непривычные выражения и писались пародии, не столь, может быть, талантливые, как у Измайлова и Влад. Соловьева на символистов, но все же занятные. В стихотворении «Домик» Дельвиг говорит о домике над рекой, где отвел скромный приют «мечтам и безделью».

Дана им свобода—
В кустах огорода,
На злаке лугов,
И древних дубов
В тени молчаливой,
Где струйкой игривой,
Сверкая, бежит,
Бежит, и журчит
Ручей пограничный—
Заботой привычной
Порхать и летать
И песнию сладкой
В мой домик украдкой
Друзей приникать.

В другом стихотворении Дельвига мы находим сожаление:

Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия—
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я.

Один из критиков разразился стихами, где отметил курсивом все выражения, заимствованные из самоновейших поэтов

Не постигал невежда я,
Как можно, дав уму свободу,
Любви порхать по огороду,
Пить слезы в чаше бытия!...
Очей, увлажненных желаньем,
Певца Гетер, у люльки Рок—
Уста, кипящие лобзаньем,
Я, как шарад, понять не мог[1]).

«Кривые толки, шум и брань» — необходимая принадлежность всякой истинной славы. Пушкинскую плеяду они не смущали. Она сама себя утверждала и в отзывах единомышленников и в быстро растущих симпатиях литературной молодежи... Все свежее и талантливое льнуло к Пушкину и его друзьям. Восторженные похвалы заглушали недоуменное шипение «зоилов». Четыре первых поэмы Пушкина, кончая «Цыганами», «Эда» и «Пиры» Боратынского, первое собрание стихотворений Пушкина в 1826 г. и Боратынского в 1827 г., хмельные песни Языкова, еще не собранные тогда во едино и появлявшиеся в журналах и альманахах, поэма Подолинского «Див и Пери» (1827 г.)—вот главные триумфы новой школы, превозносимые дружеской критикой, иногда выше мер. Плетнев в «Северных Цветах», на

[1]) «Благонамеренный», 1823 г.

1725 год, прямо заявил, что начался «золотой век» в русской литературе. Он делает смотр всем молодым поэтам и особенно молодым надеждам новой школы, юным силам... Сочувственное слово находит он не только для таких второстепенных поэтов, как Вас. Туманский и Кюхельбекер, он одобряет и таких, которые теперь совершенно и не вполне справедливо забыты, напр., Александра Крылова и Михаила Дмитриева. У первого он находит «свежую красоту», «истинные чувства, оригинальный слог и верный вкус». «Он идет собственной дорогой», но он очень мало и редко пишет. О втором говорит: «Верность вкуса, легкость стихосложения, благородные движения души и тихая мечтательность составляют характер поэзии Дмитриева Михаила».

Как он, так и многие другие его современники полагали, что Боратынский, Дельвиг, Языков, вместе с Пушкиным, разделяют «славу первоклассных поэтов». Иногда ставился даже вопрос, кто выше: Пушкин или Боратынский (Плаксин в 1829 г.). Подолинский, слава которого шла не возрастая, а угасая, так как первая его вещь, поэма «Див и Пери», имела и наибольший успех, одно время был в большой моде. Один из его поклонников совершенно искренно писал, что теперь учиться писать стихи надо не у Жуковского или

Пушкина, а у Подолинского. Замечательно, что все эти пять крупнейших поэтов 20-х годов совсем не знали периода подготовительного, периода неудач в упорной борьбе за славу. Как Пушкин, так и другие, с первых же шагов обратили на себя внимание и поставлены в первые ряды.. Очевидно, почва была так хорошо подготовлена, атмосфера для развития талантов так благоприятна, что сразу могли появляться поэты-мастера. «Уже в 1817 году, — пишет один исследователь, — оканчивая Лицей, Дельвиг, девятнадцатилетний юноша, был не учеником, не начинающим поэтом, а законченным мастером-поэтом, мастером стиха, оригинальным и крупным поэтом, выразившим свою творческую индивидуальность в художественно законченной и совершенной форме». То же самое можно сказать, да и не раз отмечалось, и относительно других. Расплаты за столь быструю славу пришли позднее, в 30-е годы.

Кличка «романтиков» с них потом соскочила, когда пришла другая волна, и появились такие ультраромантики, что прежние, в сравнении с ними, стали казаться классиками. Эти термины вообще имеют только историческое значение. Необходимо отметить, что и те из молодежи, кто вел полемику с романтиками, сами не были совсем чужды этого духа времени. Ни Катенин ни Мих. Дмитриев не были

действительно «классиками», хотя одно время и прослыли за таковых... Это были, скорее, полуромантики. И спор между теми и другими представителями их поколения шел, в сущности, лишь об оттенках и степени преемлемого для них романтизма.

Другое дело старики, как И. Дмитриев или Каченовский, которые по всему своему складу, воспитанию и привычкам были глухи и невосприимчивы к новой литературной религии.

Вся же молодежь, в большей или меньшей степени, была с Пушкиным и его друзьями.

III.

К пушкинской плеяде, в широком смысле, можно отнести почти всех поэтов, близких к нему по годам рождения, т.-е. родившихся в последнее десятилетие XVIII в. и в первые годы XIX в.

Принадлежность к одному и тому же поколению и на приемы творчества всегда накладывает свой отпечаток. С большинством из них Пушкин был хорошо знаком, со многими был приятелем и на ты, напр., с Катениным, Вас. Туманским, Тепляковым, писал сочувственные рецензии на сборники их стихов и т. д., но все же поэты эти не причислялись к группе из-

бранных. Из лицейскихъ товарищей таковы были Кюхельбекер и Илличевский.

Затем шли приятели приятелей Пушкина. У каждаго из главных представителей плеяды было по поэту-спутнику, находившемуся под их влиянием: у Боратынского — Коншин, у Плетнева—рано умерший А. Крылов, у Дельвига—фанатический его поклонник Деларю. У Вяземского был не друг, а враг, его постоянный полемический антагонист, Мих. Дмиттриев, племянник старика баснописца Ив. Ив. Дмитриева. Нападая на романтиков, на Пушкина и его друзей, Мих. Дмитриев, тем не менее, у них учился писать стихи.

Гораздо интереснее всех этих мелких поэтов были Рылеев, выпустивший в 1825 г. свои «Думы» и «Войнаровского», Подолинский, первая поэма которого «Див и Пери» в 1827 г. имела шумный успех, и в том же 1827 г. умерший высоко одаренный юноша поэт Веневитинов. Он доводился Пушкину дальним родственником.

Назовем еще Федора Туманского, автора знаменитой «Птички»; Ознобишина, приятеля Языкова; Шишкова 2-го, кому Пушкин посвятил стихотворение, с непонятным для нас, черезчур лестнымъ отзывом. Только немногих из поэтов пушкинского поколения нет оснований причислять к плеяде. Таков, напр., Тютчев. Если Полежаев был предтечей близкого

будущего и с Лермонтовым связан теснее, чем с Пушкиным, то Тютчев явился предтечей будущего отдаленного. В двадцатые годы — когда пушкинская плеяда была в славе и почете, стихи Тютчева — даже такие, как «Люблю грозу в начале мая» или «Еще в полях белеет снег» — проходили незамеченными. В 1836 г. в пушкинском «Современнике» был помещен ряд стихотворений Тютчева. Но это еще не сделало его поэтом пушкинской плеяды и не доставило ему славы. Слава пришла к нему позже, в 50-ых годах. А особенно превознесен он был в эпоху символизма. Сначала Влад. Соловьев в 1895 г. сравнил его с Гете, а потом Бальмонт провозгласил его родоначальником русского символизма и сделал противоположение его художественных приемов — пушкинским.

Что касается до художественных приемов, характерных для пушкинской плеяды, то нам кажется, уместнее говорит об этом в заключительной статье, а не во вступительной.

Скажем только, что поэты пушкинской плеяды или пушкинского поколения, что в нашем представлении почти совпадает, даже второстепенные — имеют особый отпечаток, выгодно отличающий их от поэтов последующего поколения. «Цель поэзии — сама поэзия», говорил Пушкин, и это, в большей или меньшей степени, было общим убеждением его поко-

ления. Совершенство словесного воплощения стоит на первом плане, потому что без счастливо найденных слов не может быть в поэзии и великих мыслей. Самым характерным признаком этой поэзии, свойственным и заурядным поэтам, является «изящное чувство меры».

Отсутствие погони за эффектами, художественное самообладание, точность выражений—все это, конечно, в бо́льшей или меньшей степени, смотря по размеру дарований—вот черты той благородной простоты, которая присуща большинству лучших поэтов двадцатых годов.

Этому соответствует душевное здоровье, ясность миросозерцания, трезвость ума при цельности чувства, отсутствие надломленности, надрывов, лирической истерики.

Душевная раздвоенность, вечная неудовлетворенность, смута одних желаний — неосознанных, напряженность осознанных — характерные черты поэтов следующего поколения, лермонтовского.

Сам Лермонтов, как и сам Пушкин, уже в силу своей гениальности менее типичны для своих поколений. У Пушкина есть задатки настроений, характерных для лермонтовских поэтов, у Лермонтова гораздо больше общего с пушкинской плеядой, чем у других его сверстников.

Но вот наглядный пример разницы двух поколений.

Белинский приводил стихотворение своего сверстника Клюшникова «Я не люблю тебя», как особенно характерное для настроения людей своего времени.

Я не люблю тебя. Мне суждено судьбою,
Не полюбивши, разлюбить.
Я не люблю тебя: больной моей душою
Я никого не буду здесь любить.
О, не кляни меня! Я обманул природу,
Тебя, себя, когда в волшебный миг
Я сердце праздное и бедную свободу
Поверг в слезах у милых ног твоих.
Я не люблю тебя; но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя,
И, как безумный, я и плачу и тоскую,
И все о том, что не люблю тебя!

Такая раздвоенность была бы совершенно немыслимой в поэзии любого из поэтов пушкинской плеяды. «Эта пьеса,—замечает Белинский,—за несколько лет перед тем казалась бы даже бессмысленной, а теперь для многих слишком знаменательна... У всякой эпохи свой характер».

У многих из поэтов, появившихся в 30-х годах, «романтические порывы к чрезмерному» не раз нарушают характерное для 20-х «чувство меры» (Полежаев, Якубович и др., особенно Бенедиктов и Бернет). Стройность композиции, удачная архитектоника,

изящная простота выражений — в глазах многих постепенно теряют цену. Притупившиеся нервы требует чего-то особенного, поражающего. На этой почве вырастает сверхчеловечество Лермонтова и — в прозе — гиперболизм Гоголя. Но эти гении, истолкование которых является главной заслугой Белинского, сильны были своим влиянием на последующую литературу — 40-х годов. Для 30-х годов более типичны не они, а Кукольник и Бенедиктов.

IV.

Пушкинская плеяда закатилась одновременно — около 1830 г.

Подолинский, за свои последующие поэмы «Борский» и «Нищий», был развенчан самой плеядой в лице Дельвига, написавшего о них отрицательную рецензию. Сам Дельвиг несколько запоздал со сборником своих стихов, которые он издал только в 1829 г., когда уже началось охлаждение к плеяде... Издай он десятью годами раньше — а у него было такое намерение — и успех книги был бы гораздо значительнее.

Боратынского хвалили до «Наложницы», появившейся в 1830 г. С тех пор прежние хвалители стали заявлять, что он исписался. Булгарин даже каялся в прежней высокой

оценке, какую он давал Боратынскому. В 30-е годы он хулил и Пушкина и Боратынского, а когда Пушкин умер, покойника стал превозносить, стараясь при этом унизить живого Боратынского. Недаром Боратынский не ценил хвалы, сложенной вчерашним зоилом, «уже кадящим мертвецу, чтобы живых задеть кадилом».

Неуспех «Полтавы» (1829) и VII гл. «Евг. Онегина» (1830) был неожиданностью для автора. «Полтава,—писал Пушкин,—не имела успеха. Может быть, она его не стоила, но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим, произведениям».

«При появлении VII песни Онегина журналы вообще отозвались о ней весьма неблагосклонно. Я бы охотно им поверил, если-бы их приговор не слишком уж противоречил тому, что говорили они о прежних главах моего романа. После неумеренных и незаслуженных похвал, коими осыпали шесть частей одного и того же сочинения, странно мне было читать неумеренную брань».

«Тридцатым годом, — писал Белинский,— кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период пушкинский, т.-к. кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности

доневали свои старые песенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушал их. Старинка приелась и набила оскомину, а нового от них нечего было услышать»...

Со смертью Дельвига (1831 г.) кончилась светлая пора в литературной деятельности поэтов этого поколения, пора славы и литературного шума; 1830-е годы принесли деятелям блестящей плеяды гораздо больше терний, чем лавров. У публики появились новые вкусы, новые моды, новые любимцы. Байроническая струя, временная и не существенная у Пушкина, бурным потоком разлилась в русской поэзии. У вновь появляющихся поэтов были признаки душевного надрыва. Душевная тревога стала казаться привлекательнее душевной ясности. Успех Полежаева был уже характерным симптомом. Этого поэта приветствовал Белинский, но довольно равнодушно отнеслись поэты плеяды. Пушкин, хотя при жизни его вышло несколько книг стихов Полежаева, ни разу нигде о нем не упоминает, а Плетнев находил, что Полежаев «мог бы сделаться поэтом в том смысле, как мы понимаем искусство», но для этого нужно было бы его «живые, оригинальные и резкие идеи выражать крепким, точным, пропорциональным стихом».

Еще зловещее был другой симптом: необычайный — такого не имел и Пушкин —

успех Бенедиктова, поэта, который резко порывает с пушкинскими традициями точности и простоты выражений. Книжка стихов Бенедиктова вышла в 1835 г., и через полгода появилось уже второе издание — факт, совершенно дотоле небывалый в истории русской поэзии.

Погоня за эффектами, желание поразить читателя хлесткостью отдельных стихов при неряшливости слога вообще — вот что такое была «бенедиктовщина».

Белинский, ополчившийся на Бенедиктова, при всей своей критической проницательности, невольно тяготел к поэтам, близким к нему по настроению. Вот почему он преувеличивал значение поэтов своего поколения—Клюшникова и Красова (Панаев свидетельствует, что одно время великий критик готов был ставить Клюшникова выше Пушкина по содержанию его поэзии). Вот почему Белинский недооценил Боратынского, Языкова, Дельвига — трех крупнейших представителей пушкинской плеяды.

Пушкину и его друзьям, не сумевшим потрафить новым вкусам, остается удалиться от литературных торжищ в свои уединенные мастерские. Дарования помельче (Плетнев, Туманский, Катенин) совсем перестают выступать со стихами в печати; дарования могучие (Пушкин, Боратынский) смело идут

вперед своей дорогой, дают произведения гораздо высшего значения, чем раньше, а в ответ все чаще встречают равнодушие публики, непонимание и намеки, что они давно будто бы исписались.

Но пока жив был Пушкин, положение плеяды было еще не так плохо: даже те, кто находили его устаревшим, начавшим исписываться и т. д., не могли отрицать в нем первоклассного дарования. А своим авторитетом Пушкин поддерживал и остальных; истинная беда началась с его смертью. Вскоре самым крупным представителям пушкинской плеяды: Боратынскому и Языкову, которых раньше за более слабые произведения превозносили, — пришлось вынести глумление критики. Оба умерли в следующее десятилетие за Пушкиным.

V.

Тяжелее всего пришлось тем, кому судьба послала долгую жизнь. Плетнев (умер 1865 г.), кн. Вяземский (1878 г.), Подолинский (1886 г.) задолго до своей смерти были забыты, заживо погребены как поэты. Все они испытали мучительный разлад с новыми поколениями. Все болезненно пережили эпоху пренебрежения к Пушкину. Где уж тут о собственной славе

тужить! Все они казались живыми анахронизмами, все чувствовали сами себя неловко в новых условиях общественной жизни, но все свято берегли пушкинские традиции, не всегда, впрочем, правильно их понимая.

Если критика 30—40-х годов, в лице Белинского, из всех поэтов предыдущего десятилетия сохранила одного Пушкина, да и то с оговоркой, что это был только великий художник, а потому новым общественным запросам удовлетворить не в состоянии: пушкинское спокойствие, самообладание художника ошибочно принято было за общественный индифферентизм,— то критика 60-х годов только сделала дальнейшие выводы из этих взглядов: сейчас не время заниматься художествами, если Пушкин только художник, то он никому и не нужен и даже вреден, как все отвлекающее от более насущных задач. Гонение на искусство особенно резко выразилось в гонении на стихи. Были развенчаны многие, кого еще ценил и признавал Белинский.

Вслед за Писаревым, старавшимся свести на нет Пушкина и доказать бессодержательность его поэзии, другой критик, подголосок Писарева, Варфоломей Зайцев, провозгласил, что Лермонтов — юнкерский поэт, не больше. Каролина Павлова, выпустившая в 1863 году сборник своих стихотворений, вызвала пренебрежительное определение: «мотыльковая

поэзия». Неблагосклонно встречено было и второе издание сочинений когда-то шумевшего Подолинского. Вяземский одно время подвергся травле сатирических журналов, а потом он встретил «заговор молчания». Все остальные поэты пушкинской и лермонтовской эпохи обречены были на забвение.

В течение двадцатилетия—60—70-е годы—Пушкин переиздан был только один раз, Боратынский — тоже один, Дельвиг, Языков — ни разу.

Появились новые любимцы. Правда, их было немного. Полновластно царил Некрасов, выдержавший до конца 70-х годов 7 изданий. 3 издания в течение семи лет выдержал Суриков, да бойко расходились поэты-юмористы и сатирики, наприм., ловкий рифмач Минаев. В противоположность заветам Пушкина, в поэзии всего меньше ценили поэзию. Стихи Некрасова одобряли, напр., таким образом: «как хорошо: совсем почти как проза!»

С 80-х годов началось возвращение к Пушкину. Поворотным пунктом является открытие памятника великому поэту в Москве в 1880 г., сопровождавшееся шумным признанием великого значения Пушкина. Но других еще не сразу вспомнили. На поэтов двадцатых годов продолжали смотреть с точки зрения поколения 30—40-х годов, т.-е. пренебрежительно. Был еще жив Подолинский, «сей остальной

из стаи славных». Но когда он попробовал, увидав, что стихи опять начинают ценить, послать свои произведения в журналы, их нигде не приняли, и они нашли себе место, как нечто археологическое, только в «Русской Старине».

Почти целое десятилетие прошло, а других современников Пушкина все еще не восстановляли в их поэтических правах... Правда, начал переиздаваться Боратынский, но взгляды на него мало ушли вперед сравнительно с отзывами Белинского, назвавшего его как-то «паркетным поэтом», и Чернышевского, который заявлял, что «Боратынского губит отсутствие мысли».

В связи с выделением одного Пушкина, получалась странная и нелепая картина. Пушкин возносился одинокой скалой на равнине. В действительности, в литературе этого никогда не бывает: всякий великий поэт — один из стаи славных, но более сильный и потому обогнавший свою стаю. Гений Пушкина вырос в атмосфере такого увлечения поэзией, какого мы потом уже не видали, и вместе с ним в той же атмосфере вырос ряд других дарований. Если их всех расположить по степени поэтического таланта, получатся не горные вершины на плоскости, а постепенная лестница, где больших скачков не будет. Это постепенно стало проникать в сознание.

VI.

В конце 80-х годов вновь открыт и оценен был Боратынский. С. Андреевский пересмотрел отзыв Белинского о поэте и нашел этот отзыв слишком придирчивым и несправедливым по существу. Вместе с тем, Андреевский вспоминает оценку, данную Боратынскому Пушкиным: «Он — один из первостепенных наших поэтов... Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского». Далее Андреевский пытается доказать, что для нашего времени (статья написана в 1888 г.) поэзия Боратынского, как поэзия охлажденного ума, гораздо ближе не только Жуковского, но и Лермонтова.

«Боратынский должен быть признан отцом современного пессимизма в русской поэзии, хотя дети его ничему у него не учились, потому что едва ли заглядывали в его книгу. Поэт сознавал свое родство с каким-то близким будущим поколением». В заключение, критик ожидает, что поэзия Боратынского «вновь привлечет сочувствие читателей, а также внимание и изучение истинных ценителей прекрасного».

Последние строки оказались пророческими. Пришедшие вскоре затем символисты нашли

между собой и Боратынским не ту связь, на которую указывал Андреевский, не сходство миросозерцаний и настроений, а тот же метод творчества, и провозгласили его, наравне с Тютчевым, своим великим предшественником и учителем. Несколько позже к этим двум кумирам присоединили они и третье имя — Пушкина.

За этими тремя именами стали открывать, как Америки, и других, хорошо забытых поэтов. Припомнили Подолинского, и отвели ему довольно почетное место (Тиняков, Кадмин). Благодаря Андрею Белому и Брюсову, вновь открыта была, как «одно из лучших украшений русского Парнаса», Каролина Павлова. Еще симптоматичнее был тот факт, что вспомнили о среднем, но типичном поэте пушкинской эпохи, Василии Туманском, который ни разу ни при жизни, ни после смерти, до 80-х годов, не издавался. Теперь с 80-х годов он выдержал два издания. В нем никак нельзя было увидать крупного поэта. В лице его как бы выражали свой интерес и симпатии всей его эпохе, золотому веку поэзии.

Признание крупных дарований Языкова, Дельвига, Вяземского находится в разных стадиях.

Те из новых поэтов, которые имели особую наклонность к стилизации, находились в особенно благоприятных условиях для обра-

щения к Дельвигу. Совершенно неожиданно Дельвиг ожил в творчестве некоторых молодых поэтов, на что указывает и самое название их книжек: «Идиллии и элегии», «Оды и гимны» и т. д. Вячеслав Иванов однажды заявил, что молодым поэтам, прежде всего, надо учиться у 4-х старинных мастеров: Жуковского, Пушкина, Тютчева и Боратынского. Дельвига при этом он также назвал большим поэтом, которому немногого только недостает, чтобы стать наравне с теми четырьмя мастерами. Культ Дельвига, пламенным и фанатическим поклонником которого был когда-то его современник Деларю, ожил в историко-литературных и критических статьях Юрия Верховского и Модеста Гофмана. С. В. Шервинский определеннее всех устанавливает современный подход к Дельвигу в статье, которая опять-таки является опровержением мнений прежней критики, главным образом, Гаевского, и возвращением к той оценке, какую дал своему другу Пушкин.

От Белинского и его последователей к Пушкину, как к критику — таково направление при переоценке ценностей, производимой символистами и последующими поколениями.

Одно за другим сбываются давние пророчества. Боратынский предвидел, что прежде чем вернуться к Языкову, русская поэзия должна пережить эпоху утонченности и гиблья,

т.-е. декаданса. «Когда гнилая наша поэзия еще будет гнилее и будет пахнуть мертвечиной, мы почувствуем все достоинство его бессмертной свежести».

Интересно, что Языкова оценили, главным образом, те поэты, которые пришли после гнилья декадентства и утонченности символистов; особенную тягу к бессмертной свежести Языкова проявили некоторые из той группы умеренных футуристов, которые не захотели «сбросить Пушкина с парохода современности» и не порвали с традициями.

Горячими поклонниками Языкова явились Шершеневич 1915 года и С. Бобров. Статья первого из них, где автор полемизирует с Белинским, должна быть признана столь же симптоматичной, как Андреевского о Боратынском, Шервинского о Дельвиге.

Что касается до Вяземского, то он еще ждет своего Андреевского. Официального выражения в печати возвращения к нему — еще нет, но ясно, что и это не заставит себя долго ждать. Пишущий эти строки знает целый ряд поэтов и исследователей, особенно среди молодежи, которые интересуются поэзией Вяземского и серьезно изучают его.

Одним из завершений этого процесса — постепенно нарастающего интереса к поэтам — современникам Пушкина, является антология Юр. Верховского «Поэты пушкинской поры»,

где во вступительной статье делается высокая оценка как всей эпохе, так и отдельным ее представителям. Лестная характеристика дана и кн. Вяземскому, при чем в первый раз обращено должное внимание на его песни старости. «Многообразный Вяземский, переходя в своем творчестве от эпохи к эпохе, подходил к какому-то необычайно широкому синтезу, освещенному его самобытными «вечерними огнями» — и до сих пор светившими, кажется, для немногих».

Попытки воскрешения старых поэтов не всегда могут рассчитывать на успех.

Модест Гофман в своей недавней статье о Дельвиге говорит:

«Потомство несправедливо забыло одного из крупнейших поэтов и поэтических деятелей начала XIX века, дав ему место в ряду второстепенных поэтов пушкинской эпохи. Пора пересмотреть вопрос о Дельвиге»[1]).

Вполне соглашаясь с признанием Дельвига крупным поэтом пушкинской плеяды, мы, тем не менее, не надеемся, что в настоящее время Дельвиг может стать общепризнанным и модным поэтом, как стали модными у символистов Тютчев и Боратынский.

Людей, ценящих поэзию всюду, где она есть, вне интересов своего круга и своего

[1]) «Неизданные стихотворения Дельвига». Под редакцией М. А. Гофмана. II. 1922, стр. 23.

времени, вообще немного. К таким принадлежал, напр., Некрасов, который в начале 50-х годов задумал ряд очерков о несправедливо забытых поэтах. Другие заботы отвлекли его: успел написать только о Тютчеве, но известно, что вслед за Тютчевым другой очерк он хотел посвятить Вяземскому, признавая его крупным поэтом.

Для толпы же нужен или такой неистощимый источник поэтической энергии, каким является «солнце русской поэзии» Пушкин, чтобы пробить толщу поэтической невосприимчивости среднего читателя, или что-нибудь эффектное, кричащее, сенсационное. Отсюда успех Бенедиктова, Игоря Северянина и многих других.

Но как может иметь широкий успех поэзия той эпохи, когда чувство меры клалось в основу поэтики? У Дельвига Пушкин находил «прелесть, более отрицательную, чем положительную», прелесть, «которая не допускает ничего напряженного в чувствах, тонкого, запутанного в мыслях, лишнего, неестественного в описаниях».

«Чтобы дослушать все оттенки лиры Боратынского,—говорит Киреевский,—надобно иметь и тоньше слух и больше внимания, нежели для других поэтов». Это еще более применимо, кажется, к Дельвигу.

И если с 90-х годов Боратынский стал все-таки модным, то только потому, что его связали с новейшим течением, присвоили себе символисты. Эпоха символизма прошла, и среди «новых» уже не замечается недавнего пиэтета к Тютчеву и Боратынскому.

VII.

Хочет ли пишущий эти строки вернуть былую славу поэтам пушкинской плеяды? «Боже меня упаси от такого невежества!», ответит он, перефразируя известные слова Лермонтова.

Нет, он слишком хорошо знает, что и равнодушие к пушкинской плеяде Белинского, и развенчание Пушкина Писаревым — были равно законны и исторически необходимы; знает, что сейчас время трехаршинных плакатов и эстрадных выступлений, а не работы в уединенных мастерских.

Автору просто «весело было» заниматься поэтами, которые еще не захватаны. Каждый поэт его интересовал, прежде всего, как живой человек, и не миросозерцание его — для поэта это не важно, — а, скорее, темперамент, так часто определяющий личную и литературную судьбу.

Если считать, что максимум достижений в области словесного искусства дает поэзия

Пушкина, и нормой взять его гений,—все другие достижения покажутся неполными, все другие поэты явятся, в той или другой степени, неудачниками. Обычно рассматривают условия, помогавшие развитию дарований. Выяснение причин, тормозивших развитие, не менее поучительно. То же следует сказать и о литературной славе. Автора интересовали экскурсы в область ненаписанной еще «Истории литературных репутаций».

Воскрешаемые поэты казались интересными и сами по себе, и по своим литературным судьбам, и по отношению к Пушкину, которого нельзя верно оценивать и знать, не зная его современников.

Иная мелочь из частной жизни, в роде оторвавшейся пуговицы — классический пример! — более характеризует человека, чем его рассуждения о смысле бытия, часто взятые напрокат. Отсюда, необходимость некоторого босвеллизма для достижения главной задачи автора — воскрешения в портретах и характеристиках ряда человеческих существований, где поэтическое творчество было источником главных радостей в жизни и огорчений.

Анализ формальной стороны поэзии служит предметом другой подготовляемой работы: этих двух тем смешивать не хотелось.

Галлерею характеристик начинаем старшими приятелями Пушкина и ровесниками между собой — родились в 1792 году — Плетневым и Катениным. Из них включение второго в плеяду требует некоторой оговорки: потомству Катенин запомнился, как запоздалый классик и враг романтизма, но, по словам Пушкина, он же был раньше «апостолом романтизма». Пушкин, которого тоже только условно можно было причислять когда-то к романтикам, никогда не видел в Катенине человека из враждебного литературного лагеря: напротив, он считал его своим, что и выразилось в приглашении, обращенном к Катенину, участвовать в «Литературной Газете» Дельвига, главном органе плеяды.

ПЛЕТНЕВ
Петр Александрович
[1792-1865]

ЛИЧНОСТЬ.

I.

Блаженны кроткие!..

«Не жизнь драгоценна, а ее атмосфера» говорил Плетневъ. И дорог он стал потомству не сам по себе, а въ связи с той атмосферой, умственной и эстетической, которою дышал. Он был другом Жуковского, другом-приятелем Пушкина, Дельвига, Боратынскаго, покровителем Гоголя, Некрасова, Тургенева. По свидетельству сестры Пушкина, ни с кем из своих приятелей не был великий поэт так близок и откровенен в последние годы своей жизни, как с Плетневым. Ни с кем из русских литераторов не чувствовал Жуковский такого духовного сродства, такого сходства натур, как с Плетневым, который имел право сказать о себе и своих знаменитых друзьях:

Их счастием я счастлив был равно;
В моей тоске я видел их унылых;

Мне в славе их—участие дано;
Я буду жить бессмертием мне милых.

Две последних строчки оказались пророческими. С признательностью и уважением упоминается всякий раз его имя в биографиях многих наших крупных писателей, хотя мало кто знаком с его собственной биографией; поэзия его забыта, но кто из нас не знает обращенных к нему чудесных стихов Пушкина, посвятившего Плетневу самое крупное из своих созданий—«Евгения Онегина» («Не мысля гордый свет забавить» и т. д.). Пушкину кажется, что посвящение Плетневу данного романа является слишком слабым выражением дружеской признательности.

Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты.

Позднее другой друг Плетнева, Яков Грот, посвящая ему свой известный перевод «Фритиофа» Исайи Тегнера, выразился еще определеннее:

Тому, кто в свете не для света,
Но для прекрасного живет,
Кто гражданина и поэта
Себе венок без шуму вьет,
Тому, чьей дружбы я не стою...

Из современных Плетневу писателей только один вызывал со стороны друзей такую высокую нравственную оценку, даже еще выше: Жуковский.

Гр. Соллогуб сопоставляет Плетнева с его двумя знаменитыми друзьями. «Он был другом Жуковского и приятелем Пушкина. Этим различием и определяется характер Плетнева. Тихая мечтательность творца Светланы была ближе к его природе, чем страстность величайшего нашего поэта. Плетнев говорил тихо, как будто бы стыдливо. Жуковский был самоувереннее и по своей тогдашней знаменитости литературной и по своему положению при дворе. Но душа Жуковского, как и душа Плетнева, были, так сказать, прозрачные, хрустальные. От них как будто веяло чем то девственным, непорочным».

II.

Плетнев обладал одним свойством, которым особенно дорожил Пушкин: благорасположенностью к людям. За несколько дней до своей роковой дуэли, великий поэт, уже измученный и затравленный светскими интригами и клеветой, зашел к Плетневу и стал развивать свой идеал жизни на тему «на земле мир, в человецех благоволение». Самого Плетнева

он определил, как «человека благоволения». Это была их последняя беседа.

То же самое слово «благоволение», примененное Пушкиным к Плетневу, Тургенев применяет к Жуковскому, отмечая на лице его, как характерную черту, «улыбку благоволения».

И в душевных склонностях и в обстоятельствах жизни Жуковского и Плетнева кое-что было общее. И тот и другой много пользы принесли родной литературе своим добрым сердцем, своим участливым отношением к начинающим писателям, своим покровительством нуждающимся литераторам. Одной из заслуг Плетнева перед родиной является то, что он оказал покровительство и поддержку Гоголю, Некрасову, Майкову, Плещееву, Тургеневу, Ершову, Соханской-Кохановской и многим другим на первых шагах их литературной деятельности, и только Жуковский мог бы гордиться еще большим количеством имен.

И тот и другой занимались педагогической деятельностью: Жуковский по собственному влечению, Плетнев, как получивший, по желанию родных, специальную педагогическую подготовку. Жуковский занялся педагогией сначала в интимном домашнем кругу: принялся за воспитание своих племянниц; Плетнев, по окончании Педагогического института, назначен был преподавателем русского языка, математики и истории в женских институтах.

Оба обнаруживали незаурядные педагогические способности.

И тот и другой стали в близкое отношение ко двору: Жуковский, как воспитатель наследника престола, Плетнев, как преподаватель русского языка у того же наследника и великих княжен.

Оба они не старели душой. Жуковский до конца остался большим ребенком. «До самой старости, — говорит о Плетневе И. С. Тургенев, — он сохранил почти детскую свежесть впечатлений». В связи с этой молодостью сердца находятся и их поздние браки. Жуковский женился 53 л. на 19-летней. Когда вступил в брак один знакомый Плетневу старик, Плетнев сострил: «это подражание Жуковскому и, как всякие подражания, неудачное», но через некоторое время писал своему приятелю, что сочинил новую пословицу: «жениться никогда не поздно». 56 лет, после десятилетнего вдовства, Плетнев женился на молоденькой девушке, ровеснице своей дочери от первого брака. Он был прекрасный семьянин, — пишет Тургенев, — и во второй своей супруге, в детях своих нашел все нужное для истинного счастия».

Перед Жуковским, как человеком и как поэтом, он благоговел. «Жуковский и Пушкин — это наши Шиллер и Гете», — говаривал он. «Он не расставался с дорогими воспомина

ниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском было для него праздником (Тургенев). Но Жуковского любил он еще более, чем Пушкина. Он так определял значение Жуковского: «Для меня он творец поэзии у нас, — более творец, нежели Пушкин... В его храме зажглись свечи на алтарях богов всех народов древнего и нового мира... Пушкин высказал только себя; а Жуковский принес себя в жертву пользы нашей и, отказавшись от славы, весь век трудился для нашей пользы. Конечно, великое дело прибавить к поэтам всемирным новое имя, как сделал Пушкин; но для общего блага выгоднее лицом к лицу свести на одну доску всех поэтов мира, как поступил Жуковский. Может быть, его и забудут, но то, что он внес в нашу литературу, развило ее неимоверно. Это разлив Нила, который унес опять в свои берега; а, между тем, без него зачахла бы целая страна. Кто не проникнулся Жуковским, как Пушкин, Дельвиг и Боратынский, тот не приобрел истинного чутья в поэзии. Мы, люди двадцатых годов, жили в стихах Жуковского [3]).

Самому творцу «Светланы» Плетнев писал: «или природа, создав меня, сообщила мне в душу особенного рода ограниченность, ко

[3]) Перев. с Гр. III, 596

торая не допускает в нее другого счастия, кроме доставляемого вашими идеями и выражением их?»[1]).

После этого не удивительно, что Плетнев должен был казаться вторым изданием Жуковского, но изданием, конечно, сокращенным и ухудшенным. И впечатление он производил несомненно слабейшее.

Он был человек высокого роста (чуть-чуть пониже Жуковского), крепко сложенный и приятной наружности, но в наружности его не было ни одной резкой характерной черты. В то время как Пушкин невольно всюду обращал на себя внимание, мог казаться одним из тех фантастических «белых арапов», о которых с суеверным ужасом рассказывают купчихи у Островского, в то время как Жуковский поражал внимание наблюдателя довольно резкой ассиметрией лица и прекрасными, темными и глубокими, но на китайский лад поставленными, «восточными» глазами, — физиономия Плетнева не была лишена приятности, но и только. Правильные, но мягкие черты лица; какое то благообразие во всем; тихий и плавный разговор — все это напоминало умного батюшку из богатого прихода. Недоставало только длинных волнистых волос и длинной расчесанной бороды: по моде

[1]) Переп. с Гр. III, 552.

того времени, почти обязательной для чинов ников. Плетнев брился, оставляя только маленькие бачки у ушей.

Духовное происхождение, которого Плетнев как-будто несколько стыдился, сказывалось не в одной наружности. Как наследственно сословную черту, Тургенев указывает присущее Плетневу практическое благоразумие.

III.

Детство и юность занимают обыкновенно важное место в биографии всякого поэта. Плетнев в этом отношении является исключением. О ранних годах его жизни мы знаем слишком мало. Родом он был из Тверской губернии, учился в духовной семинарии, потом в Педагогическом Институте—обо всем этом Плетнев не любил вспоминать. По его собственным словам, он начал жить не ранее, как с двадцатилетнего возраста... Я провел свое детство,— писал он Я. Гроту,[1]) — без развития, без впечатлений, без поэзии. Может быть, в 19 лет я еще походил на чурбан, который валяется по земле. Что делать? Таковы были обстоятельства моего лучшего для других и ничтожнейшего для меня времени ... В 1842 году он писал тому же Гроту[2]): Моя

[1]) Переп. I. 496.
[2]) Пер. I. 501.

первая жизнь, почти до 20 лет, представляет совершенный образ прозябаемости. Итак, можно сказать, что я по-человечески не жил еще и 25 лет, а ты более меня, следовательно, в человеческом отношении ты старее меня». И Грот, который был на 20 лет моложе Плетнева, согласился, что может считать себя его ровесником. Еще ранее, в 1833 г., Плетнев жаловался Жуковскому: «Мне 40 лет, а я еще не жил, как другие, я только работал».

Две основные врожденные черты отмечает у себя Плетнев, как источники неисчерпаемого, как это обнаружилось впоследствии, счастия: чувство красоты и влечение к избранному обществу.

«Первые лета моей жизни так бесцветны, что я сам их не помню. Вырос я между чужими. Всегда мне чужды были забавы и удовольствия моих товарищей. Единственная потребность, господствовавшая в душе моей, была любовь: ребенком я любил тех из детей, которые были хорошенькие. Это странное, врожденное стремление к красоте до сих пор меня преследует». (Переп. II. 529—530). Женская красота всегда производила на Плетнева глубокое впечатление. Он с удовольствием припоминал, как давал уроки одной юной девушке. «Это было золотое время. Мне было 18 лет. Жозефине 16. Мы оставались всегда только двое в прелестной ее ком-

натке и беспрестанно оба краснели, не понимая сами отчего... Она была удивительное создание по красоте души, сердца и тела. Но Провидению не угодно было, чтобы она некогда принадлежала кому-нибудь из смертных». Она умерла в ранней молодости от несчастной случайности. Я и теперь (через 36 лет) не могу вспомнить о ней без сердечного трепета и участия. Она для меня облекла в поэзию самое прозаическое ремесло. Но с тех пор я не встречал уже существа, подобного ей, и не испытывал в учительстве счастия, какое она ему сообщить умела». (Пер. II. 693).

Как я часто благословляю Провидение, что оно с-из-детства вложило в сердце мне неодолимое влечение к обществу избранных ... Не получив хорошего воспитания... я всегда оставался игрушкой мгновения. То, что не важного и удалось мне сделать, было следствием счастливых знакомств, которыми, впрочем, скажу к чести своей, я всегда дорожил и постоянно искал (Пер. II. 865).

Знакомство а затем и дружба с Дельвигом, Пушкиным, Жуковским имели решающее значение в личной судьбе Плетнева: с этих пор он начинает жить, а раньше прозябал. Особенное влияние оказал на него Дельвиг, имевший с ним немало сходных черт. Оба они отводили себе скромное место в исто

рии родной литературы и ценили себя главным образом как спутников великих светил; оба обладали верным вкусом и страстно любили литературу; оба были люди уравновешенные и очень добрые. Но Дельвиг был флегматик, Плетнев меланхолик, Дельвиг ленив, Плетнев — воплощенное трудолюбие; «спасался от тоски работою», по его собственному признанию (Переп. II. 56).

Дельвиг в 1829 г. (за год до своей смерти) посвятил Плетневу следующее стихотворение, очевидно при посылке ему своих произведений:

Броженье юности унялось,
Остепенился твой поэт;
И вот ему что отстоялось
От прежних дел, от прежних лет.
Тут все, знакомое субботам,
Когда мы жили жизнью всей,
И расходились на шесть дней:
Я — снова к лени, ты — к работам[1]).

«Я сошелся с Дельвигом — писал Плетнев — при самом начале его и моего вступления в свет и в литературу. От лицейского порога до самой кончины его это соединение сохранило один ровный, чистый характер. Мне сведомы были каждое в нем ощущение и каждая мысль». Дельвиг был на 6 лет моложе Плетнева, но превосходил его устойчи-

[1]) Курсив наш.

востью своего характера, самостоятельностью своих суждений и более развитым художественным вкусом. Он сделался воспитателем, участливым и строгим, музы Плетнева. Плетнев с благодарностью вспоминал, как много он был обязан в своем стихотворстве указаниям Дельвига, который в этом отношении «держал его в ежовых рукавицах ... Действительно, в несколько лет Плетнев, как поэт, преобразился до неузнаваемости: очевидно, Дельвиг сумел указать своему другу его основные недостатки и выявить его скрытые до сих пор достоинства.

Что касается до Жуковского, то ему, его рекомендациям обязан был Плетнев, между прочим, и своей служебной карьерой, и своими связями при дворе.

IV.

Другого рода были взаимные отношения с Пушкиным. Здесь приходится скорее говорить о контрасте, чем о сходстве натур... «Страстность величайшего нашего поэта», — как указывал гр. Соллогуб, — чужда была натуре Плетнева. И Плетнев говорил о своих «страстях», но что это за страсти!? О, страсти, восклицает он, — Если бы не они, как бы можно быть счастливым. Под именем страстей

я здесь разумею: спех, боязнь, что не успеешь всего сделать, желание сделать как можно больше» (Переп. II, 522). И Плетнев говорил о своих «пороках», но что это за пороки?! «Дух праздности и уныния — вот два величайшие врага человека, — писал он Я. Гроту. — Друг мой! С этой стороны нападай на меня. Это незащищенная сторона моей жизни». «Я не люблю цинизму ни в чем», — заявлял он в другом письме (Переп. I, 526).

«Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения», о ниспослании чего просит молитва Ефрема Сирина и чего так недоставало подчас Пушкину (недаром он переложил стихами эту молитву) был присущ Плетневу в наивысшей степени. Кротость его была поистине изумительна. Его ровный, слегка меланхолический характер, его обычное душевное равновесие, его мягкая настойчивость в проведении того, что он считал справедливым — все это внушало к нему уважение и симпатии.

Но у Плетнева не хватало темперамента. Иногда он казался слишком отвлеченно добродетельным, слишком безукоризненным, чтобы нельзя было усомниться, таков ли он в действительности, каким кажется.

По мнению Гоголя, этого великого экспериментатора человеческих душ, чтобы узнать человека как следует, нужно хорошенько рас-

сердить его. Но, по отношению к Плетневу, не так-то легко это было сделать. Пушкина, пока он еще не очень сблизился с Плетневым, раздражало это отсутствие темперамента, отражавшееся и на произведениях Плетнева. 4-го сентября 1822 г. Пушкин писал брату, что Плетнев «не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его бледен, как мертвец».

Вопреки ожиданиям Пушкина, брат его показал эти строки Плетневу. Но Плетнев принадлежал к числу тех людей, которых рассердить трудно, зато легко огорчить. Упреки эти растревожили его обычно спокойную меланхолию... Задетый за живое — а для всякого поэта это именно и нужно, чтобы быть, все равно: любовью ли, обидой, задетым за живое — он в оправдание себя написал элегический ответ Пушкину, одно из лучших своих стихотворений. Ничего подобного, по мнению Пушкина, Плетнев раньше не писал: это «первая его пьеса, которая вырвалась от полноты чувства; оно блещет красотами истинными. Он умел воспользоваться своим выгодным против меня положением: тон его смел и благороден».

Послание свое Пушкину Плетнев начинает так:

Я не сержусь на едкий твой упрек:
На нем печать твоей открытой силы;

И, может быть, взыскательный урок
Ослабит мои возбудит крылы.
Твой гордый гнев, скажу без лишних слов,
Утешнее хвалы простонародной;
Я узнаю судью моих стихов,
А не льстеца с улыбкою холодной.
Притворство прочь: на поприще моем
Я не свершил достойное поэта.
Но мысль моя божественным огнем
В минуты дум не рад была согрета.
В набросанных с небрежностью стихах
Ты не ищи любимых мной созданий:
Они живут в нескаданных мечтах;
Я их храню в толпе моих желаний.

Затем поэт указывает причины, почему любимые создания остаются у него в «нескаданных мечтах»: суровая проза жизни, мелочные заботы, сухие обязанности. Здесь, между прочим, Плетнев имеет, повидимому, в виду и свое учительство, хотя и пользовался репутацией блестящего преподавателя.

На мне лежит властительная цепь
Суровых нужд, желаний безнадежных:
Я прохожу уныло жизни степь
И радуюсь средь радостей ничтожных.
Так вырастет случайно дикий цвет
Под сумраком бессолнечной дубравы,
И, теплотой отрадной не согрет,
Не распустясь, свой лист роняет новый.

Хорошо тому, кто живет в стране, где «верный вкус» берет верх над мнением невежества и лести.

Но здесь, как здесь бороться с жизнью нам
И пламенно предаться страсти милой,
Где хлад в сердцах к пленительным мечтам,
И дар убит невежеством и силой!
Ужасно зреть, когда сражен судьбой
Любимец муз и, вместо состраданья,
Коварный смех встречает пред собой,
Торжественный упрек и порицанья.

Но если нечего рассчитывать на сочувствие общества, возможно было бы еще счастье: делить свой жребий и жажду песнопения с друзьями.

Но я вотще стремлюся к ним душой,
Напрасно жду сердечного участья:
Вдали от них поставлен я судьбой
И волею враждебного мне счастья.
Меж тем, как вслед за днем проходит день,
Мой труд на них следов не налагает,
И медленно с ступени на ступень
В бессилии мой дар переступает.

Здесь не только упреки судьбе, но и горькое сознание своего творческого бессилия. Далее еще более скромности: он сознает себя недостойным дружбы тех, кого хотел бы считать своими друзьями:

Невольник дум, невольник гордых муз,
И страстию объятый неразлучной,
Я-б утомил взыскательный их вкус
Беседою доверчивости скучной.

Кончается элегия в том же грустном тоне:

Напрасно жду. С любовию моей
К поэзии, в душе с тоской глубокой,
Быть может, я, под бурей грозных дней,
Склонюсь к земле, как тополь одинокий.

Кротость Плетнева победила и Пушкина, и впоследствии великий поэт относился к Плетневу с особенной заботливостью и нежностью [1]). После смерти Дельвига, он в лице Плетнева имел самого близкого в Петрограде человека. А лет пять спустя после смерти великого поэта, Плетнав писал своему новому другу Як. Гроту, что примется впоследствии за составление записок собственной своей жизни. «Последнее мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него было тогда какое-то высоко-религиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество благоговения ко всем, видел это качество во мне, завидовал моей жизни и потребовал обещания, что я напишу свои мемуары».

Этого обещания Плетнев не выполнил: журналистика, профессура, ректорство, отношения к свету и ко двору налагали на него слишком много обязанностей и отвлекали от

[1]) См. соч. Вяземского, т. II, стр. 26.

писания мемуаров. Вечно занятый, но лишенный духа истинной инициативы, он нуждался в возбуждении извне в виде дружеского поощрения... Умер Дельвиг — и почти прекратилась стихотворная деятельность Плетнева; умер Пушкин — и Плетнев берется продолжать издание «Современника», журнала, освященного инициативой великого поэта, и заявляет себя в этом журнале верным «хранителем пушкинских традиций». С современностью он не чувствует уже у себя живых связей. Все чаще жалобы на литературное одиночество... «Из живущих здесь [1]) никто не видал и не делил моего прошлого... Моя история вся в вас, в Пушкине и Дельвиге [2]). Но умер и Жуковский, единственным другом Плетнева остался Як. Грот, человек другого, более молодого поколения, других взглядов, вкусов и привычек, притом ученый и только отчасти литератор и поэт. Из видных писателей, верных хранителей прошлого, остался только кн. Вяземский, но с ним Плетнев особенно близок никогда не был, и Плетнев возлагает все свои надежды на Грота. Пишет ему [3]) о желательности совместной работы:

«Мы будем с тобою работать взапуски, как говорится, так как я работал с Дельвигом

---

1) Т.-е. в Петрограде.
2) Соч. Плетнева, III, 548. Письмо 1845 г.
3) 4 ноября 1852 г.

и Пушкиным... Ныне я оттого не пишу, что сижу в литературном одиночестве. Будь подле меня ты — закипит деятельность... Я знаю, что ты воображаешь меня трупом. Нет, милый, ошибаешься! Вся беда только в том, что без товарища в работе я погибаю от уныния.

V.

Культ дружбы, столь характерный для двух поколений русских поэтов: поколения Жуковского и Пушкинской плеяды,— нашел в лице Плетнева самое крайнее свое выражение... Его многолетняя дружба с Гротом любопытна и психологически, и с общественно-бытовой стороны. Переписывались они, как самые нежные влюбленные, как молодожены, чуть не каждый день, считали долгом давать отчет друг другу о каждом своем шаге, сообщая о каждой обыденной мелочи проведенного дня... Но в переписке этой то раздо более обнаруживается различие их натур, чем сходство... Они постоянно спорят и противоречат друг другу.

Кроме дружбы, остались и еще другие утешения. Прежде всего наслаждение поэзией по словам великого поэта:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь —

к Плетневу это применимо буквально: он пишет о поэме «Рустем и Зораб» в переводе Жуковского: «Я прочитал ее вчера один — и какими сладкими плакал слезами!» Другой раз он пишет о повестях и сказках для детей Зонтаг: «Между ними есть одна, которой совершенством я был поражен. Читая ее в корректуре, я заливался слезами: так она сильно на меня подействовала»[3].

«Поэзия — значительнейшее... благороднейшее из искусств» — заявлял Плетнев (Пер. II, 187—8). Он принимал чуть ли не за личную обиду малейший признак неуважения или даже хотя бы даже равнодушия к любимым им поэтам: Пушкину, Боратынскому, особенно Жуковскому.

Он был очень любим студентами, как профессор и ректор университета, за свою приветливость и участливость к ним; в происходивших иногда их столкновениях с профессорами брал большею частью сторону студентов, выясняя их правоту.

Но он не мог простить им равнодушия к красотам поэзии Жуковского.

Однажды ему вздумалось прочесть студентам на лекции «Ундину», и он очень был огорчен, что не заметил на лицах слушателей сочувственного внимания: «слушают, как лошади» отзывался он с досадой.

---

[3] Собр. соч. Плетнева, III, 526.

Плетнев был слегка влюблен в свою ученицу, в. кн. Ольгу Николаевну. Он с видимым удовольствием приводит слова о ней Мятлева, который, увидав ее на одном концерте в голубом платье, сказал Плетневу: «завернулась в кусочек неба, да и смотрит оттуда, как ангел». Но ни человеку, ни ангелу не мог Плетнев простить хулы на его божество — Жуковского. Когда великой княжне вздумалось сказать что-то неблагосклонное о Жуковском, Плетнев сказал ей: «люди, как мы, здесь находящиеся, родятся всякий день, а Жуковские раз в столетие. Кто не ценит Жуковского, тот более терпет, нежели он, — подобно тому, как кто, смотря на звезду, будет говорить: это грязь, — так звезда ничего не утратит, а говорящий затмит себя». За эти слова великая княжна несколько надулась на своего преподавателя.

Когда появилась известная статья Белинского о Баратынском, где этому поэту, по поводу стихотворений «Приметы», «Последний поэт» предъявлялось обвинение во вражде к науке, Плетнев нашел тут «кривой толк» и о Баратынском, и о поэзии вообще. Масло в огонь подлило замечание Грота по поводу этой статьи. Грот писал: «не знаю, почему несправедливо замечание Белинского, что Баратынский в новых стихах своих восстает против науки, и какое оправдание придумы-

васте вы, его защитники». Эти строчки вызвали горячую отповедь со стороны Плетнева: Боратынский, изображая поэтически прелесть веры человека в тайные внушения чистой природы и холодность к ней сердца при торжестве сленого мудрования, нисколько не восстает против науки, — и стыдно тебе, что самые поэтические излияния не разогревают сердца твоего, как-будто бы и ты был то же, что лжесвидетель Белинский, который придирается к словам, а не к сущности поэзии. Если бы я сказал, что предвещание сердца святее опытов и указаний ума, это не значило бы, что я защищаю невежество, а только выражало бы прекрасное моментальное настроение души — и вооружаться против него со всеми придирками критика-квартального значит не понимать сущности и жизни поэзии. Поэт даже может быть полон противоречия, потому что он управляется впечатлениями, которые подобно природе, их создающей, изменяются ежеминутно. Только непорожденный поэтом выдумывает и сочиняет философию для поэзии [1]). Славно — писал после этого Грот Плетневу — ты меня отделал за Боратынского. Но я рад, что дал тебе случай набросать несколько идей сильно тобою чувствуемых». Перед этим Грот не раз

[1]) Переп. Грота с Плетневым, II, 37.

жаловался Плетневу, что тот пишет к нему вяло и бесцветно, и Плетнев сознавался, что слог его страдает «всегдашней... неопределенностью в выражениях». И опять невольно припоминается мнение Гоголя, что иных людей надо хорошенько рассердить, чтобы вызвать в них живые движения души. Плетнев и сам порой жалел, что ему не на что сердиться, «хоть и желал бы этого» (Переп. II, 42).

Своим увлечением поэзией Жуковского и Пушкина и своим литературным вкусом Плетнев гордился.

Поверь,— писал он Гроту,— что в моем энтузиазме к Пушкину и Жуковскому нет пристрастия, а одна штудировка их, которая раскрыла передо мной все стороны их изумительных совершенств. Я уверен, что ты их пьесы едва по содержанию помнишь, а я знаю до малейшего оттенка всякий в них эпитет или другое что. Им-то я обязан, могу смело сказать, редким чутьем замечать в чужих и своих стихотворениях все тонкости красот и слабых мест, все уклонения от надлежащей потребности стиха и все приближения к его достоинству. Изучение их образует не только ум, но самый слух. Для меня, как для меломана, все важно в стихе, и кто этого не понимает или кто считает это лишним, тот по мне не совсем поэт. Вот отчего часто сер-

жусь я на Растопчину и других в юном поколении».

... Я не умею быть снисходительным там, где вижу ложные понятия или неуважение святой истины» (Переп. I, 276).

VI.

При всей мягкости у Плетнева хватало однако характера людям, которых он считал бесчестными, открыто показывать это. Он пишет Гроту (12 апр. 1841 г.): «Вообрази, что сегодня мне пришлось у Максимовича обедать с Краевским. Этот мерзавец осклабился при произношении «здравствуйте» и думал, что я подам ему руку; но я этого не сделал, ничего с ним не говорил, старался не оставаться в той комнате, где сидел он, и после кофе тотчас ушел к себе домой». По определению Ю. Арнольди, оставившего известные «Воспоминания», Краевский был полною противоположностью Плетневу и прославился «не как литератор, а как ловкий литературный аферист; его должно считать родоначальником той сильно расплодившейся потом семьи журнальных издателей и редакторов, на штандартах коих гордо рисуются слова: «человечество» и «наука», что на высокопарном жаргоне этих господ, однакоже, означает:

Наше я! и золото! В Краевском Плетнев ненавидел не только торгашество, но и заискивание перед вкусами толпы. Пушкинское пренебрежение к мнению толпы исповедывал и Плетнев до конца своей жизни: Мелочные умы довольствуются, когда о них говорит толпа; а человек высшего назначения не ищет ничего, лишь бы ему совершить по убеждению свое призвание (Пер. с Гр. II. 283). Его огорчило, что и талантливые молодые писатели слишком, по его мнению, ищут популярности. «Случайно на даче встретился я с поэтом, автором Параши Тургеневым. Он признался, что в «Отечественных Записках» печатает свои стихи единственно потому, что у них много читателей... Нет любви к искусству, нет потребности делиться идеями с человеком, который бы вполне понимал поэта: читала бы толпа, да и только! А Пушкин и Дельвиг не так чувствовали» (Перен. II. 275).

Издавая «Современник», Плетнев признавался, что каждый год терпит тысячи убытку, но на это издание он смотрел отчасти, как на свой долг перед памятью Пушкина, как на служение родине, и гордо заявлял: «я и не ищу читателей». Сила, — говорил он, — в достоинстве мысли, а не в числе подписчиков. Ленивцы, невежды и т. п. всегда предпочтут балаганы церковной службе».

В критике своей Плетнев и по убеждению, и по недостатку темперамента никогда не спускался до полемики, за что и выговаривали ему друзья. Грот прямо говорил, что журналисту нужен задор, которого нет у Плетнева: «Журналистом невыгодно быть человеку слишком смирному и кроткому: к оживлению журнала много служит полемика».

Журнал Плетнева шел неважно между прочим и потому, что редактор его требовал от сотрудников такого же бескорыстия и самоотверженья, какое он проявлял сам: «Современник есть журнал, существующий не на коммерческом основании. Всем это известно, и потому всякий, принимающийся работать для него, вместе с тем отказывается от денежного возмездия за свою работу». Редактор не учитывал, что положение литератора изменилось, что поддерживать журнал только потому, что он основан был Пушкиным и издавался его приятелем, другие не могли, как бы ни ценили они самого Пушкина. Про «Современник» Киреевский остроумно сказал, что «сила его истощается в заботах о литературной чистоплотности» (Переп. II. 119). «Журнал был безусловно чистоплотен, но... скучноват». 5 мая 1845 г. Плетнев предупреждал Грота: «приготовься видеть в № 6 «Современника» одни ученo-серьезные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я

знаю, что ты будешь бранить меня. Но войди в мое положение (так любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин): не мог я, во-первых, не напечатать статьи о глаголах (слишком два листа); затем еще менее было возможности отложить... статью о величайшем открытии в области... физики. Это займет около 3 листов. Если напишу разбор Никитенки (тоже предмет учено-метафизический), то почти и весь № уже будет занят с прибавлением библиографии. Но плюнем на легкомысленный суд легкомысленных читателей: главный судья внутри нас, а он меня не обвиняет.

Понятно, почему число подписчиков все уменьшалось и уменьшалось. Не было сомнения, что при таких условиях Пушкин не стал бы продолжать издательства журнала: ему важно было распространять в обществе известные идеи и не для тесного круга друзей своих издавал он журнал.

VII.

«Живи и жить давай другим» — сказал Державин. Эту мысль разделял и Пушкин. «Ты понял жизни цель,—говорит он в своем послании к кн. Юсупову,—для жизни ты живешь». Плетнев же ближе был к воззрению

Жуковского, полагая, что цель жизни — нравственное самоусовершенствование, нравственный подвиг... И от других требовал того же. Вполне понятно, что бессмысленный и бессодержательный образ жизни всегда вызывал в нем резкое осуждение. «Я вчера был у Ростовцева и порицал его и его жену за то, что они всякий день играют в карты. Ростовцев сказал: у нас в России невозможно обойтись без карт, ибо у нас нет ни политики, ни литературы. А я отвечал: невозможно представить ни одного в мире парадокса, которого бы мудрость человеческая не защитила бы совершенно».

Особенной нетерпимостью отличался Плетнев к некоторым литераторам, что и указано было ему Гротом, не напрасным у своего друга благоволения ко всем, отмеченного когда-то Пушкиным. «Сколько между нелитераторами, в обществе, где ты обращаешься, есть таких же мерзавцев, но ты не зол на них». Но и сам Плетнев всегда охотно предавался самобичеванию. «Все говорю я о духе христианства, о любви к человечеству, о самоусовершенствовании, о смирении, а сколько лет ношу это гнусное чувство вражды к некоторым писателям... Кто мне дал право считать их ниже себя, от того только, что они иначе думают и иначе действуют, нежели я? Одно только препятствует мне по-

любить их: это продажность их убеждений и разврат, распространяемый ими в молодом поколении. По крайней мере, если бог не растворит мое сердце любовью к ним, я буду стараться забывать их, не писать о них, не говорить». (Пер. II, 687). Наконец он передал «Современник» в другие руки: как гора спала с его плеч: «Теперь, когда я не журналист, у меня нет ни к кому из них враждебного чувства, и я очень счастлив». (Пер. III, 21).

Мягкость характера помешала раз даже дальнейшему возвышению по службе Плетнева. В 1858 г. он был первым кандидатом на должность петербургского попечителя, но государь сказал, что хорошо знает Петра Александровича, очень любит его и уважает, но находит, что он «так кроток, мягкосердечен и тих», что эта должность не по нем.

Этой служебной неудаче Плетнев обрадовался: «мне стало опять легко и весело от того, что эта чаша прошла мимо [1]).

Но у Плетнева не хватало характера отказываться от возлагаемых на него должностей, хотя бы они и были ему в тягость: «Навалили на меня ректорскую должность, эту цепь, т. е. собачью веревку» — жаловался он.

[1]) Скабичевский назвал Плетнева «катедер-карьеристом».

Хотя научный багаж Плетнева был невелик, как профессор-гуманист он имел благотворное влияние на слушателей. Но профессорской среды он не любил: «мне эти господа скучненьки,—заявлял он Гроту,—нет никакого знания жизни. Шуточки и остроты книжные». Сам он на профессора мало походил, и Грот писал Плетневу в начале их знакомства: «Сколько раз я слышал на ваш счет, что вы необыкновенный профессор, т.-е. вовсе не похожи на профессора,—не педант, а милый любезник в обществе благородных дам». Плетнев очень ценил хорошие знакомства. Его постоянно тянуло в свет. «Я люблю изучать сердце человеческое — говорил он. Это для меня интереснейшая часть в занятиях мыслящего существа. Вот почему я и не могу отказаться от общества, особенно высшего. Там всегда есть и страсти, и ум, и игра их»[1]). Не раз Плетнев влюблялся в светских женщин.

Он был дважды женат. О первой его жене, урожденной Раевской, Тургенев отзывается как о даме «болезненного вида и очень молчаливой». Во второй раз Плетнев женился после долгого вдовства на юной княжне Щепинцой. Это была такая же «прекрасная душа», как и сам Плетнев. «Моя жена,—писал о ней Плетнев Жуковско-

[1]) Переписка II, с Гр. I, 156.

му, — существо кроткое, нежное и преданное самым чистым, самым возвышенным помышлениям. Она только и мыслит вашею поэзиею, которая так связала наши души задолго до того, как мы догадались, что любим друг друга»[1]).

Плетнев говорил о себе, что элегическое расположение духа с детства и до зрелой осени преобладало в нем[2]). Да и потом он поражал многих своим кротко меланхолическим видом. Но умер он с ясной душой, благодарный жизни за то, что видел много хорошего, что был знаком и дружен со столькими прекрасными и талантливыми людьми,

[1]) О ней смотри в воспоминаниях А. Кони: Плетнева и Я. Грот.

[2]) Переп. с Гротом, II 425.

МОТИВЫ И НАСТРОЕНИЯ.

Молчаливые мне понятны,
И люблю обращенных в слух.
А. Блок.

I.

«Отпечаток душевной тишины и покорности» находил в Плетневе Тургенев. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений,— замечает Тургенев,— не мешала ему быть проницательным и даже тонким.

Этой «душевной тишиной», знаменующей не бездействие души, а ее особенную чуткость и нежную восприимчивость, веет на нас и от лирики Плетнева.

...Пускай, по прихоти фортуны,
В пустынной тьме я буду жить,
Я буду двигать сердца струны
И вопрошать безмолвный лес;
Там облегчат мое страданье
И легких листьев трепетанье
И свет чуть видимых небес.
(«К Боратынскому», 1822 г.).

Ничего яркого! Ничего бурного! Но нужна тонкость и острота восприятия, чтобы услаждаться «светом чуть видимых небес» и «легких листьев трепетаньем», таким легким и беззвучным, что лес остается «безмолвным».

Тихая мечтательность поэта лучше всего выразилась в его стихотворении «Ночь» (1826 г.).

Задумчивая ночь, сменив мятежный день,
На все набросила таинственную тень.
Как опустелая, забвенная громада,
Весь город предо мной. С высот над ним лампада
Без блеска, без лучей уныло висит
И только для небес недремлющих горит.
Их беспредельные, лазурные равнины
Во тьме освещены. Люблю твои картины,
Мерцанье звезд твоих, полночи страна,
Когда в полночный час стоит меж них луна!
С какою жаждою, насытив ими очи,
Вникаю в душу я покой священной ночи!
Весь мир души моей, созданье мечты,
Исполнен в этот миг небесной красоты:
Туда в забвении несусь, покинув землю,
И здесь я не живу, не вижу и не внемлю.

Плетнев любит видеть и слышать душой, воображением, а не внешними чувствами. Когда слепой певец Козлов посвятил княжне Сен Реаль прочувствованное стихотворение, Плетнев постарался воссоздать в своей душе

это близкое и понятное ему настроение слепца-поэта и сделал такую приписку от себя:

Так в привиденьи идеала
Ему представилася ты:
И кисть поэта срисовала
Твои воздушные черты.
Его потухнувшие очи
Печальною покрыты мглой;
Но и во мраке тяжкой ночи
Он видел ясно образ твой.
Еще он видит, что прекрасно,
Как мы на темных небесах
Осенней ночью месяц ясный
Видаем в тонких облаках.

Здесь Плетнев говорит за другого, но и сам он, зрячий, часто не нуждался в зрении, чтобы быть очарованным внешней красотой. Это мы, например, видим в прекрасном его стихотворении «С. Д. Пономаревой» (1822)[1]).

По слуху мне знакома стала ты;
Но я не чужд в красавиц милой веры:
И набожно кладу мои цветы
На жертвенник соперницы Венеры.
Так юноша спешит в Пафосский храм.
И на огне усердною рукою
Сжигает он душистый фимиам,
Хотя не зрит богини пред собою.

[1]) О Пономаревой см. в нашей статье о Дельвиге.

В душе еще долго звучат давно умолкшие звуки и речи. Разлука бессильна перед этою памятью сердца.

Теперь навек я розно с ней.
Но вся она в душе моей:
Мой слух словам ее внимает,
С ней сердце чувства разделяет
Так путник утренней порой
Глядит за птичкой над собой:
Она поет и выше вьется,
Скрывается; но раздается
Ее отрадной песни звон,
И жадно ей внимает он

(«Разлука» 1824 г.).

Еще тоньше, еще нежнее воспоминания о запахах.

Пускай, беседуя с немым воспоминаньем,
Мы тайно сохраним хоть призрак прошлых дней:
И наши радости, чуть слышимо провея,
Мелькнут нам в воздухе опять тенью своей.
Так путник часто пьет на бархате полей
Воздушный аромат, где отцвела лилея.

(«Воспоминанье»).

Особенно могущественны воспоминания о первой любви, о первом друге.

Покой души, забавы, ожиданья,
Счастливые привычки юных лет,
Все радости, чем нам прекрасен свет
При шепоте игривого мечтанья,

От нас судьба берет без состраданья,
И время их смывает легкий след.
Так хладный ветр уносит поздний цвет,
Когда пора настанет увяданья.

Одно душа заботливо хранит,
Как тайный дар любви первоначальной,
От ранних лет до старости печальной

Друг первый с ней. Его улыбка, вид
Движенья, взор: все с нею говорит,
Все к ней летит, как звук музыки дальной.
(«А. И. С—вой». Сонет. 1824).

II.

Вполне понятно, что у такого поэта, каким был Плетнев, любовь носит чистый, целомудренный характер. В стихотворении Пир (1822 г.) он с сожалением говорит о девушке, сдающейся на голос искушения. На балу, шепот изредка скрывая, вдали сидит чета младая. Страстные звуки музыки, прикосновение жарких рук все разжигает чувства.

В ее глазах любви приметы
Страсть беспокойная прочла,
И сокровенные ответы
Рука нескромная дала,
И робкий стыд в лице прекрасной
Сменен улыбкой сладострастной,

И вот отравлены младые дни ее.

И слышимы в ночной тиши
Лишь вздохи, жалобы души

Ни пылких клятв, ни страстных признаний не хочет поэт от любимой им девушки, он предпочитает догадываться: затаив дыхание, подслушать сердца первый звук. Всего слаще невольные признания во сне.

Быть может, сердце скажет ей:
«Весна твоих летящих дней
Цветет счастливою любовью!»—
И я, склоняясь к изголовью,
В безмолвной радости моей
Услышу в веющем дыханье,
Еще не встретив милый взор,
Ее невольное признанье,
Любви неспящей разговор»

(«Ожиданье»).

Стихотворений, проникнутых такой тихой, безмолвной радостью, как это, у Плетнева не много: большинство подернуто меланхолией, тоже тихой и безмолвной.

Мы все обречены
Однажды в жизнь узнать красу весны,
Расцвесть на миг, и после до могилы
Влачить свой век томительно-унылый.

(«Кипмене», 1822).

Как странник, сбившийся с пути,
И устрашен безвестной далью,
Глядит назад с немой печалью,
Не смея далее итти:

Так я, переступив уныло
За половину дней моих,
Смотрю и думаю, что в них
Моей душе не изменило?

(«Разуверенье», 1822).

И ранняя смерть может казаться благом, а не злом, и не потому, что согласно с Жуковским чистая душа перейдет в лучший мир, а потому, что здесь на земле жизнь ее не успела омрачиться.

Я был свидетелем печального обряда.
Я видел красоту, увядшую в весне:
Подруги томные, предавшись в тишине
Заботе горестной последнего наряда,
Ей приготовили румяные цветы
И возложили их трепещущей рукою
На тихое чело отцветшей красоты,
И облекли ее лилейной пеленою.
И в очередь свою, с унынием очей,
Подруга каждая приближилася к ней:
Последний знак любви, последнее лобзанье
Ей отдали они при воплях и рыданье.

Но поэт смотрел на гроб без жалости и слез: он даже тайно чувствовал странную отраду: «дева прелести» успела взять от жизни

ее первоначальное очарование и умерла, не изведавши ее горечи и мук.

...Не испытала ты болезненной разлуки
С неверною красой и радостью своей:
И, неизменная в живом воспоминанье,
Ты будешь для души как сладкое мечтанье.
(«Умершая красавица», 1823).

Но и молодость не застрахована от печали...

Как часто дева, расцветая,
Уж видит тягостные сны,
И блекнет красота младая,
Не пережив своей весны.
(«Юность», 1824).

У Пушкина есть стихотворение, которое по своему тону и настроению удивительно подходит к лирике Плетнева: «Увы, зачем она блистает».

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой.
Она приметно увядает
Во цвете юности живой.
Увянет! Жизнью молодою
Не долго насладиться ей,
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей. etc.

С этой элегией Пушкина однозвучны многие у Плетнева, но Пушкин, «скрыв свое унынье», «спешит» в данном случае

Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее...
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей...

Это горькая услада, но все же услада! А у Плетнева нет такой остроты: печальные предчувствия убивают для него возможность услаждаться настоящим. Он говорит «веселой красавице»:

Мое предчувствие рисует
Близ каждой радости печаль:
Душа моя полна участья,
Меня тревожит жизни даль:
Я твоего боюся счастья:
Чем лучше утро настает,
Тем реже солнце днем сияет,
И цвет скорее опадает,
Чем он прекраснее цветет

(1824 г.)

Невольно вспоминаешь лермонтовскую знаменитую элегию «Мне грустно потому, что я тебя люблю», но у Лермонтова сила и страсть, у Плетнева задумчивость и нежность. «Лермонтов бичует мимоходом «мишуру света»: не

пощадит коварное гоненье». Плетневу этот мотив о коварстве света вообще чужд. Разночинец по происхождению, он дорожил изысканным светским обществом и не замечал его недостатков, по крайней мере, в стихах.

III.

Плетнев недаром сказал «душа моя полна участья»: он умеет словом участья утешать опечаленных жизнью. К лучшим его стихотворениям относится несколько загадочное послание «К Т—ной», осужденной, вероятно, по какому-нибудь физическому недостатку прожить свою жизнь «без жизни, без любви».

С тобой не знались они.
Твою не приласкали младость
Надежды пламенной любви,
Слепая ветрености радость.
Задолго до цветущих дней
Ты тяжкий жребий твой узнала,
И ничего душе твоей
Твоя весна не указала
Осуждена без жизни жить,
С печатью страшной отчужденья,
Ты не осмелилась любить
Для долгих мук, без разделенья

. . . . . .

Быть может, тайный твой упрек
Судьба суровая вникала,
И, может быть, кляня свой рок,
Не раз ты в жалобах рыдала

Останови рыданья глас!
Жизнь горьких слез твоих не стоит:
Все счастье вечной жажды в нас
Не утолит, не успокоит.
Все лучшее, оно твое:
Души возвышенной свобода,
В покойном хладе бытие
И сердцу внятная природа.

(«К Т—ной». 1823 г.).

В последних стихах выражается идеал жизни и самого поэта, но к этому следует еще добавить и самодавлеющее творчество... Одно стихотворение Шенье о таком творчестве перевел Пушкин, применив к самому себе («Близ мест, где царствует Венеция златая»). Плетнев передал это же стихотворение Шенье, заменив и венецианского гребца русским рыболовом. По окончании своих дневных трудов, рыболов этот любит петь.

Далеких замыслов и суетности чуждый,
Не знает он похвал, не чувствует в них нужды.
Любуясь на небо, на волны, на скалы,
На позднюю зарю и дым вечерней мглы,
В пустынных берегах невнемлемый, незримый,
Выводит для себя напев страны родимой.

Таково и творчество поэта

Без разделенья и хладного суда
Забавой пользуясь любимого труда,
Как упоительным, но сладостным мечтаньем,
Как сном несбыточным, но сходным с ожиданьем

Тот же мотив и в стихотворении «Эпилог», характерном, кстати сказать, и для манеры Плетнева[1]) давать ряд сравнений.

Как месяц молодой на спящую природу
Лучи серебряные льет:
Как ранний соловей веселье и свободу
В дубраве сумрачной поет:
Как светлый ключ в степи, никем не посещенный,
Прохладною струею бьет:
Так вдохновенный жрец подлии священной
Свой голос громкий подает.
Он пламенную песнь над хладною землею
В восторге чистом заведет:
Прочтется глас его, исполненный душою,
И непонимаемый умрет.

Громкой и пламенной песнь Плетнева, конечно, не была, но нельзя не признать, что «глас его исполнен был душою».

Каждый раз, когда, отделясь от толпы, выходит перед вами человек с поэтическим дарованием, не чувствуете ли вы, что собственная судьба ваша как будто улучшается, что на поприще жизни вашей кто-то будто бросил ароматный цветок, что в ваши занятия внесено что-то живительное — и вы безмолвно радуетесь, будто встрече с другом.

[1]) О поэтических приемах Плетнева, по плану нашей работы, речь будет в другом месте,—в связи не с личностью поэта, а с приемами его современников.

Это слова Плетнева. Они применимы и к нему самому. Не велико поэтическое наследство, оставленное им: оно не пошло в литературный оборот: никем из критиков не было пущено зазывающих реклам... Но какая радость неожиданно, где то в окрестностях официально принятой литературы, случайно набрести на лирику Плетнева! Цветок, безусловно, не яркий, не крупный, но он не лишен аромата поэзии — и вы безмолвно радуетесь...

КАТЕНИН

Павел Александрович

[1792–1853]

МОЛОДОЙ КАТЕНИН

Прототип, по наружности, Пушкина...
Погодин о Катенине.

I.

«Бездарный», «талантливый» — такие определения не подходят к Катенину. Создавая его, природа как-будто хотела подарить миру великого человека, но потом передумала или просто по рассеянности забыла самое главное: вдохнуть в его душу искру животворящего гения. И вышла злая пародия на больного человека.

У Катенина было высоко развитое чувство собственного достоинства, независимость суждений, неколебимая вера в себя — и все это пропало втуне. У него было слишком много талантов и не было одного — умения найти свое настоящее призвание.

дарованиями своими он мог ослеплять, ошеломлять. У него была абсолютная память, как у Пушкина: он массу читал и помнил все прочитанное. Более, чем Грибоедов, поражал он универсальностью своих познаний и интересов. Но предоставим слово его современникам.

Один из них [1] заявляет, что лингвистические способности Катенина были поразительны. «Двадцатипятилетним молодым человеком Катенин свободно владел французским, немецким, итальянским, понимал хорошо английский язык, и немного греческий. Историю знал превосходно; можно было положительно сказать, что не было ни одного исторического события, которого бы он не мог изложить со всеми подробностями. Это была живая энциклопедия».

«Катенин, — подтверждает и другой современник [2], — принадлежал к самым образованным людям своей эпохи». Он познакомился в оригинале со всеми выдающимися памятниками французской, немецкой, английской, итальянской, испанской и классических литератур, и его феноменальная память усваивала все слышанное и в любую минуту могла привести множество цитат почти слово в слово.

[1] П. Каратыгин. Записки, 1880, стр. 55—56.

[2] Макаров. Мои 70-летние воспоминания, ч. I, стр. 27.

Несколько позднее начитанность его обнимала уже все предметы, подлежащие книгопечатанию: поэзию, историю беллетристику, философию, богословие, точные науки, естествознание» [1]).

Он был знатоком сцены и театра. Гвардейским офицером он принимал участие в Отечественной войне, отличился в сражениях под Бородиным и Лейпцигом; в 1814 г. два месяца провел со своим полком в Париже, где имел случай видеть всех сценических знаменитостей блестящий эпохи французского театра: Тальма, Марс и др. С этим кружком ему удалось даже сойтись лично. В связи с этим он обнаружил сценические таланты

Он явился неподражаемым чтецом и декламатором и выдающимся актером-любителем. Артистка Колосова в своих «воспоминаниях» [2]) рассказывает о неизгладимом впечатлении, какое произвела на нее игра Катенина в роли Хвастуна в комедии Княжнина под тем же заглавием.

Но самое главное Катенин был «гением диалектики». Он мог вести диспуты с кем и о чем угодно, и своей неотразимой диалектикой сбить с толку, обезоружить своего про-

[1]) Ефим. По словам Писемского, Катенин знал и высшую математику.

[2]) Рус. Вестник, 81, № 4, стр. 566.

тивника и доказать все, что бы ему ни хотелось доказать. Декламировать, рассказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать — вот сфера, в которой он не имел соперников».

Другой современник, более сдержанный в изъявлении своих чувств, проф. Погодин присутствовал однажды при его споре на обеде у Хомякова с Шевыревым, молодым тогда профессором по кафедре словесности, подававшим большие надежды. Под свежим впечатлением Погодин отметил в своем дневнике, что Катенин, оставшийся победителем, «заносчив и умеет спорить. Жаль Шевырева!» [1])

II

С похвалой о способностях Катенина отзывался и Батюшков, вообще очень строгий в оценке. Он называл его «маленьким Катениным», и находил у него «большое дарование»: «Маленький Катенин что делает? Он с большим дарованием, где он?» писал Батюшков Гнедичу из деревни в 1809 г. и через несколько писем опять: «что Катенин напишывает на конец строк?», а через два

[1]) Жизнь и Труды Погодина. IV, 239.

года, когда Батюшков прослышал про ссору Гнедича с Катениным, тревожный вопрос: «что с тобою сделал Катенин? Это меня беспокоит. Я от него ожидал ума».

Катенин в то время только что выступил на литературное поприще с переводами из Оссиана, древнегреческого идиллика Биона, с подражаниями Вергилию и т. д. Он мог быть причислен в это время к тому же направлению неоклассиков, к которому принадлежали Гнедич и Батюшков. Главным оплотом этого направления был известный Олепинский кружок.

Вернувшись из-за границы, увлеченный театром, Катенин стал более тяготеть к кружку Шаховского, где в 1815 г. познакомился, а потом и очень сблизился с Грибоедовым. В 1817 г. они вместе написали комедию «Студент», направленную против сентиментально романтического направления, в частности, против неопределенности и заоблачности поэзии Жуковского.

К «Арзамасу» кружок Шаховского относился враждебно. Между двумя кружками шла постоянная пикировка и полемика. Тем не менее Пушкин, будучи арзамасцем, сам пожелал познакомиться с Катениным. По словам Анненкова, Пушкин пришел к Катенину и, подавая ему свою трость, сказал: «я пришел к вам, как Диоген к Антисфену:

побей — но выучи!» — «Ученого учить — портить!» отвечал Катенин. Произошло это в 1818 г.

Катенин повез Пушкина к Шаховскому, против которого раньше, как верный арзамасец, юный Пушкин писал эпиграммы. По позднейшим воспоминаниям великого поэта, там, на чердаке Шаховского, в обществе Катенина провел он «один из лучших вечеров своей жизни».

Всего замечательнее признания Пушкина и Грибоедова, двух величайших современников и близких приятелей Катенина:

Многие (в том числе и я) — писал ему Пушкин — много тебе обязаны: ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность — есть пагуба мысли» (февраль 1826 года).

Тебе обязан я — пишет ему же Грибоедов (янв. 1825 г.) — зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне».

Такими признаниями Катенин возводится в делатели гениев, или по крайней мере в крестные отцы двух величайших наших писателей александровской эпохи.

Преувеличения легко объяснимы: все они обращены к человеку с болезненно развитым самолюбием, который, пожалуй, обиделся бы, если бы ему сказали, что не он создал Пуш-

кина и Грибоедова. Кроме того, признания эти имели целью утешить писателя, жаловавшегося на всеобщую несправедливость к нему. Грибоедов к тому же хочет, очевидно, таким признанием позолотить пилюлю, т. к. далее заявляет о своем принципиальном разногласии с Катениным и, признавая факт подчинения его авторитету в прошлом, подчеркивает независимость своих взглядов в настоящем: «я как живу, так и пишу, свободно и свободно». И у читателя естественно является подозрение: не тогда ли Грибоедов и развернул свое дарование, когда порвал с авторитетом Катенина?

Друзья Грибоедова — как Кюхельбекер, Жандр, были большею частью друзьями и Катенина; среди приятелей Пушкина было несколько непримиримых врагов Катенина, среди них следует назвать Александра Бестужева и кн. Вяземского. Первый, прославившийся позднее как ультраромантик, под псевдонимом Марлинского, не терпел узды воображению и органически должен был враждовать с Катениным, как представителем строгих форм в искусстве. Кн. Вяземский, самый правоверный из арзамасцев, журнальный боец и полемист по натуре, был настроен против Катенина и по своим родственным отношениям. Катенин подготовлял, и очень успешно, к сцене Каратыгина и Колосову.

Последнюю возненавидела всесильная тогда театральная знаменитость, трагическая артистка Семенова, которая сама своим ментором считала Гнедича. Отсюда вражда между Гнедичем и Катениным. В Семенову был влюблен и впоследствии женился на ней князь Гагарин, близкий родственник кн. Вяземского. Театральные интриги отражались и на оценках достоинств литературных произведений. В 1824 г. кн. Гагарин поместил самый резкий отзыв о Катенине, как авторе и человеке, с ссылками на отзыв о Катенине Вяземского. Между прочим Гагарин высказал убеждение, что хвалебная статья о стихах Катенина, появившаяся перед тем в «Вестнике Европы», написана самим Катениным. Это была уже клевета, которая больно уязвила Катенина.

Хорошо относился к Катенину, очень интересовался его судьбой и произведениями поэт Языков. В 1827 г., когда Катенин собирался издавать свои сочинения, Языков охотно брался распространять их в Дерпте, где он в то время жил. Трагедию «Андромаху» он сначала прослушал в хорошем чтении и пришел в восторг, а потом, прочитавши ее сам наедине, разочаровался: «при слушании, — писал он, — вовсе неприметны и грубость слога, и неточность выражений, и многословие неуместное... что всего лучше в ней и

несравненно лучше, чем у Озерова во всех его трагедиях, так его план» [1]).

Несомненно, что Пушкин и Дельвиг считали Катенина «своим»: иначе они не пригласили бы его в свою «Литературную Газету», где он стал помещать очень ответственные для редакции «Размышления и разборы». И печатно Грибоедов и Пушкин вставали на защиту Катенина. Сошлись они и в том, что одной из баллад его «Ольге» отдавали предпочтение перед аналогичной балладой Жуковского — прославленной «Людмилой». Грибоедов вступил из-за этого даже в полемику с Гнедичем.

Пушкин особенно ценил в Катенине критика, критика образованного, взыскательного и искреннего. Пусть этот критик иногда бывал чересчур придирчив, но свои мнения он всегда высказывал смело и открыто, и в отдельных его замечаниях было много меткого и справедливого. Эти качества обнаруживались главным образом в беседах и спорах. Он вообще гораздо больше был человеком слова, чем человеком пера, гораздо больше остроумным собеседником и оратором, чем писателем. Влияние на Пушкина и Грибоедова, удостоверяемое ими самими, он оказывал, конечно, в беседах с ними, а не своими произведениями и критическими статьями.

---

[1]) Языковский архив, I, 310.

III.

Есть писатели, которые при личном знакомстве, в частной беседе ослепляют собеседника глубиной и основательностью своих познаний, подчас тонкостью и проницательностью своих критических суждений. Их литературные замыслы, раскрываемые попутно, поражают смелостью и грандиозностью. Собеседник в праве ожидать от таких писателей прекрасных, значительных произведений и — разочаровывается. Есть какая то вражда между словом устным и письменным, и опытные говоруны редко бывают хорошими писателями. Рудин, речь которого дышала истинным вдохновением, вряд ли мог выдвинуться на литературном поприще: такие люди слишком выговариваются в беседах, а для писательского труда не остается уже достаточного жара и пыла. Кроме того, они нуждаются в непосредственном влиянии своей личности на других: писатели же, как сказал Чехов, лучшую кровь и сок своих нервов отдают в пространство, неведомо кому, какому то невидимому читателю. Большинство из них не любят рассказывать своих литературных планов, потому что по опыту знают: стоит рассказать, и уже не напишешь (при

знания Льва Толстого и других), и потому они «думают свою думу без шуму».

Вечно шумливый, неугомонный, «гений диалектики», живи Катенин в наше время — он прогремел бы на всю Россию своими выступлениями на диспутах в Политехническом музее или как руководитель образцовой театральной студии, но тогда, в дни Александра I и Аракчеева, что было делать ему — дворянину и помещику? Воевать? Он и принимал участие в войнах и обнаруживал большую храбрость, но в мирное время военная служба тяготила его неугомонную натуру. Вольнодумствовать и составлять заговоры против правительства? Он и прослыл опасным вольнодумцем, но при его несдержанном, шумливом и открытом характере он совершенно не годился для серьезной конспирации. Оставалось писательство. И Катенин вообразил себя крупным писателем-художником и на некоторое время обманул этим других и всю жизнь обманывался сам. В этом его жизненная трагедия.

Пушкину казалось, что Катенину следовало выступить со своими критическими дарованиями перед широкой публикой. «Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принес бы ты русской словесности» — писал он ему в 1826 г., а в 1830 г., как мы уже говорили, привлек

его, антагониста большинства из близких к Пушкину литераторов, к участию в «Литературной Газете» Дельвига, куда Катенин своими «Размышлениями и разборами» внес некоторую оппозицию общему направлению журнала.

Для Пушкина Катенин мог быть до известной степени осуществлением его идеала литературного деятеля, бескорыстного и самоотверженного, идеала, который как-раз в это же время, в 1830 г., был выражен им в знаменитом сонете «Поэту»: «Живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум ... не требуя наград, и — как можно было бы добавить из другого стихотворения — клевету приемли равнодушно».

Пушкин счел своим долгом и печатно выступить в защиту Катенина. Что же касается несправедливой холодности, оказываемой публикой сочинениям г. Катенина, то во всех отношениях она делает ему честь: во-первых, она доказывает отвращение поэта от мелочных способов добывать себе успехи, а во-вторых, и его самостоятельность. Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно. Он даже до того простер свою гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как скоро

становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровождало его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собою других. Таким образом, быв одним из первых приверженцем романтизма, первый введши в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования [1]).

Даже Вигель в своей, по обыкновению, злой характеристике признает независимость взглядов и вкусов Катенина.

Не из угождения Шишкову, ибо Катенин никому не хотел нравиться, но всех поражать, а так, из оригинальности, в надежде служить примером Катенин свои трагедии и стихотворения начинял славянизмами» [2]).

Сам Катенин не раз подчеркивал независимость своих суждений и своего творчества... Мы пишет он Пушкину 16 мая 1835 г. хотим более всех угодить себе, потом избранным, наконец уже прочим... Идем своей дорогой, доверяем своему по совести суждению более, нежели чужому, часто невежественному...

---

[1]) Лит. Прил. к „Рус. Инвалиду" за 1833 г., № 26.

[2]) Вигель. Воспоминания, т. III, стр. 147.

Этой самостоятельности и искренности не мог не ценить как Пушкин, так и Грибоедов.

Критика твоя, — писал автор «Горя от ума» Катенину в январе 1825 г., хотя жестокая и вовсе несправедливая, принесла мне истинное удовольствие тоном чистосердечности, которого я напрасно буду требовать от других людей; не уважая искренности их, негодуя на притворство, черт ли мне в их мнении?

Идя своим путем, Катенин мог, конечно, заблуждаться, доходить до нелепостей, глядя на все своими глазами, обнаруживать свою близорукость, но иногда его суждения бывали безусловно интересны.

Он сознавал, что у Расина часто лица, вопреки именам своим, сбиваются на французских придворных Людовика XIV; у Шекспира он отмечал отсутствие «краски времени и места», жители юга у Шекспира все напитаны ростбифом и пудингом.

Писемский, лично хорошо знавший Катенина стариком и изобразивший его в романе «Люди сороковых годов», вкладывает ему в уста — и это, повидимому, действительно мнение Катенина — такой упрек Пушкину:

Как же это, говорю, твоя Татьяна, выросшая в деревенской глуши, вдруг, выйдя замуж, как бы по щучьему велению делается

светскою женщиной — холодна, горда, неприступна? Как будто бы светскость можно сразу взять и надеть, как шубу!.. Мы видим этих выскочек из худородных. В какой мундир или роброн ни наряди их, а все сейчас видно, что мужик или баба. Госпожа Татьяна эта, я уверен, в то время, как встретилась с Онегиным на бале, была в замшевых башмаках ну, и ему она могла показаться и светской и неприступной, но как же поэт то не видел тут обмана и увлечения?

О IV и V главах «Евгения Онегина» Катенин писал Бахтину: «сон не везде сон, зимние подробности скучны и не без детства». Зимние подробности — не то ли место о торжествующем крестьянине и мальчике, замороженном пальчик, которое так не нравилось впоследствии Чехову?

Восставал он против комизма водевильного характера в комедиях. У Гоголя действующие лица на сцене падают и разбивают себе носы (Добчинский). При этом достается и Грибоедову: «Я еще Грибоедову говорил: для чего это ты, мой милый, шлепнул на пол Репетилова, разве это смешно?» Этот отзыв недавно повторен был и новейшим исследователем Грибоедова Н. К. Пиксановым: «На дешевый эффект рассчитано и падение Репетилова при входе» (Ист. Рус. Лит. XIX в., т. I, стр. 218).

Мнения Катенина часто расходились с общепринятыми. Иногда он производил резкое различие в произведениях одного и того же автора... У Мольера восхищался одной только комедией «Тартюфф», которую считал совершенством. У Петрарки ниже всего считал его прославленные сонеты. Лучшим произведением Пушкина считал «Евгения Онегина», любил «Графа Нулина», но считал неудачными произведениями «Бахчисарайский фонтан» и «Бориса Годунова». Достоинства Грибоедовского «Горя от ума» признавал с большими оговорками. Гоголь казался ему такой же безвкусицей, как Кукольник или Марлинский. Выше всего ставил поэмы Гомера, «Божественную комедию», испанские романсы о Сиде и «Песнь о Нибелунгах».

Его возмутила самонадеянность Виктора Гюго и его единомышленников, заявивших, что классики устарели... Ах, он шут горохового,— восклицал Катенин,— да разве Гомер может устареть?! Что же касается до Вольтеров и тому подобных, которые пользуются известностью несколько десятилетий то немного славы заменить их, чтобы и самим через каких-нибудь 20—30 лет быть замененными другими... Сам Катенин хотел творить для вечности. В этом сходство с великими писателями, но без искры животворящего гения, он был только пародией на крупного писателя

IV.

Замечалось, впрочем, даже некоторое внешнее сходство у Катенина с его двумя великими друзьями - современниками: с Пушкиным по наружности, с Грибоедовым по манере держать себя. Южная кровь сказывалась в его темпераменте: по матери он был полугреческого происхождения. Небольшого роста, необычайно подвижной, остроумный и вспыльчивый, вечно кипевший, по выражению Вигеля, как «кофейник на конфорке», он действительно мог иным напоминать Пушкина. Сходство это отмечено было Погодиным, который, познакомившись с Катениным весной 1831 г., занес про него в свой дневник: «Прототип, по наружности, Пушкина». Сходство с Грибоедовым находили у него в манере держаться, в отношении к людям. Один из его современников говорит, что среди людей Александровского времени встречались такие, которые умели казаться выше, чем были на самом деле, всю жизнь ходили на ходулях и для многих оставались загадкою: это было шарлатанство особого рода... Катенин и Грибоедов употребляли его с большим успехом» [1]).

[1]) Библиограф. Записки, т. III, стр. 6.

И у Грибоедова и у Катенина постоянные жалобы на людскую глупость... И Грибоедов совершенно попадал в тон Катенину, когда писал ему из Петербурга о Шаховском: «я у него бываю, от того, что все другие его ругают. Это в моих глазах придает ему некоторое достоинство».

По словам Вигеля, Катенин «был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в непостижимой хуле писателям: ни одному из них не было у него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Виргилий всегда был первою его жертвою. Может быть, ему не хотелось быть на ряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоинствам, и смелостью суждения хотелось стать выше их».

Себя Катенин ставил в первый ранг писателей, и о Жуковском, Грибоедове, даже о Пушкине говорит как равный о равных, а иногда относится к ним с снисходительностью Крыловского петуха, ободрявшего пенье соловья.

«Жуковский печатает,— пишет Катенин Бахтину,— какие то романсы о Сиде, вероятно, те же, что и у меня. По свойственному сочинителям самолюбию, я не слишком боюсь соперничества на суду знатоков, но справедливо опасаюсь того вреда, что мое переложение, выпущенное в свет позже, потеряет в глазах читателя преимущество новизны...

Впрочем и раньше он уже выступал в состязание с Жуковским (его баллада «Ольга» и «Людмила» Жуковского) и по собственному мнению и отзывам знатоков (Грибоедов, Пушкин) остался победителем, потом и в Пушкине он не прочь увидать своего подражателя.

Прочел я Пушкина Полтаву: вещь не без достоинств, но лучшие места не свои: тут и Данте, и Гете, и Байрон, и Петров и Ваш покорный слуга».

Прослышав от Пушкина, что у того появилась новая баллада «Жених», Катенин любопытствует ее прочесть, заявляя при этом своему корреспонденту Бахтину: «Из некоторых слов его (Пушкина) я подозреваю, что это род подражания или состязания со мною».

Были правда, немногие их было, все наперечет—и восторженные поклонники поэтического дара Катенина. К ним принадлежал Вильгельм Кюхельбекер, восторгавшийся и Шихматовым.

«Мир поэта Катенина, — записал Кюхельбекер в своем дневнике в 1833 году, — одно из самых лучших лирических творений, какие только имеем на русском языке».

Когда Бахтин упрекнул однажды Катенина в недостаточной отделке стиха, тот сослался на мнение Кюхельбекера, который ставит его наравне с Жуковским и Батю-

никовым: «признаюсь... я по совести не знаю, кто же из современных мне русских стихотворцев более занимается чистотою и отделкою своих стихов. Самые лучшие из них, в разных школах и родах, довольно небрежны на этот счет, и перед беспристрастным и просвещенным судьею я не знаю, с которым бы из них, именно в этом отношении, состязание могло мне быть опасно» (4 ноября 1828 г. Бахтину).

Кюхельбекера Катенин ценил как поэта и особенно, как нравственную личность. Как любопытны три мелкие стихотворения Кюхельбекера (в «Северных цветах»: Ночь, Луна, Смерть), написанные им, кажется, в крепости. Какая у этого несчастного молодого человека чистая однако же душа»!

О ардамасцах, наоборот, Катенин отзывался резко отрицательно: «Мне что-то сдается, что эти интриганты везде себя пристутали: они из поприща чистейшей литературной славы сделали вертеп разбойничий».

Резкостью своих мнений и нетактичностью в их высказывании Катенин вызывал решительный отпор и среди своих приятелей. Так, не подозревая, что Грибоедов влюблен в балерину Телешову, Катенин в письме к нему так неблагоприятно отозвался о ней, что вызвал негодование Грибоедова:

«Зачем ты Телешову дрянью называешь, не имея об ней никакого понимания? Как же на других пенять, когда ты так резко судишь о том, чего не знаешь» [1]).

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей —

сказал Пушкин... но Катенин несомненно злоупотреблял этим презрением.

Понятно, почему многие, подобно артистке Семеновой, «крепко не жаловали Катенина за его злой язык и резкую критику» [2]).

Катенин принадлежал к числу тех русских офицеров, которые во время походов 1813—14 г., побывав за границей, вернулись оттуда с мечтами о политическом преобразовании родины. Среди этих офицеров, как известно, появились и тайные кружки, из которых впоследствии вышли декабристы...

В 1817 г. Катенин был первенствующим членом одного из двух отделений тайного «Военного Общества».

Ему же приписывался перевод французской революционной песни, распевавшейся в либеральных офицерских кружках того времени.

---

[1]) Письмо от 14 февр. 1825 г.

[2]) Записки Каратыгина, стр. 89.

Вигель с ужасом рассказывает: «Раз случилось мне быть в одном холостом обществе, где много было офицеров. Вдруг запели они песню, известную в самые ужасные дни революции: Veillons au salut de l'Empire», богомерзкие слова ее, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! свобода!
Ты царствуй отныне над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами,
Вот клятва каждого из нас!..»

Прямых улик против Катенина не было, но у начальства он был на дурном счету. В связи с этим в 1820 г. его военная карьера, блестяще начатая, неожиданно прервалась, а через 2 года по ничтожному поводу — за шиканье в театре артистке Азаревичевой, которой покровительствовала Семенова, заклятый враг Катенина (у покровителя Семеновой, князя Гагарина, были большие связи), Катенин был выслан из столицы в свою деревню, в глушь, по предписанию государя. Государь, как писал его адъютант, «требует самого строгого наказания потому, что Катенин уже прежде замечен был неоднократно

с невыгодной стороны». Один из современников этой истории сострил про Катенина, что «буря разбила его у Гагаринской пристани».

Три года провел Катенин в ссылке, потом получил разрешение вернуться в Петербург, но года через два опять уехал в деревню, уже добровольно. В деревне он очень скучал, и постоянно жаловался, что его забывают и, как опального, чуждаются старые друзья. Так, в 1823 г. он пишет о своем приятеле и бывшем ученике, актере В. Каратыгине: Каратыгин «вряд ли не тронулся; он повторяет пример молодых Скуратовых, перестает писать ко мне, объявляет себя обязанным за что-то Семеновой и пр. и пр., даже слух носится от приятелей Гнедича, что сей одноокий муж уже и обучает, или, как говорят, усовершенствывает моего экс-приятеля».

V.

Неудачи свои Катенин склонен был объяснять независимостью своего ума, прямотой и непреклонной честностью. Видя себя гонимым, он ревниво и с горечью следил за литературной и служебной карьерой своих приятелей. Его забывают, не пишут ему... веро-

ятно, потому, что боятся скомпрометировать себя сношением с опальным. Не без ядовитости говорит он о быстрой карьере Грибоедова. «Довелось мне однажды — пишет он 29 мая 1828 г. Бахтину — лет 10 тому назад прочитать письмо матери Грибоедова к сыну. Он тогда, чином титулярный советник, вошел снова в службу и собирался в Персию с Мазаровичем. Мать, радуясь его определению, советовала ему отнюдь не подражать своему приятелю, мне, потому де, что эдак, прямотой и честностью невыслужиться, и лучше делай, как твой родственник т а к о й - т о, который подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же иначе? ведь сам бог, кому мы докучаем молитвами, любить, чтоб перед ним мы беспрестанно к у в ы р к а к у в ы р к. Так вещала нежная мать, и, видно, бог услышал ее молитвы и умилился ее кувыркания, ибо сын лезет в гору ужасно; Вы меня уведомили о производстве его в статские советники, но с тех пор он уже произведен в действительные статские и на правах тайного едет посланником в Тавриз, с небольшим жалованьем 7.200 червонцев в год. Dieu prodigue ses biens a ceux qui font voeu d'etre siens [1]) заметьте d'abondance [2]), что все, тако на путь спа-

[1]) Бог расточает блага тем, которые дали обет быть ему верными.

[2]) Вдобавок.

сения грядущие, начинают с того, что разрывают все связи со мною, дабы не иметь вперед неприятных встреч».

Своею неуживчивостью и дурным характером Катенин так прославился, что поведение его переставали принимать в серьез, и горячность его находили забавной. Так и Пушкин. Гнедичу он писал: «Нельзя ли опять стравить его (Бестужева) с Катениным? Любопытно бы»... В 1833 г. Плетнев писал Жуковскому из Петербурга. «Между деятельными литераторами теперь явилось новое лицо, хотя в старом образе. Приехал сюда Катенин... да и засел в Российскую Академию. Он там начал сильную тревогу. Первый спор зашел о слове: бурко. Катенин требовал, чтобы его писали: бурка. Спускать он никому не любит: так что ему значит Петр Ив. Соколов? [1]) И так он начал ему высказывать горькие истины, что он, Петр Иванович, русский язык знает плохо, что слушать его нечего, а наконец (после завтрака, на котором стоял графин с ерофеичем...) Катенин открыл за новость Соколову, что самому ему пятый десяток, что служил он в гвардии и давно полковник и пр. Вы можете представить, как это забавляет Пушкина, который также член Российской Академии и следовательно без-

[1]) Секретарь Рос. Академии

денежно... может слушать их и глядеть такую комедию» [1]).

То, что сам Катенин считал у себя «прямотой» и неколебимой «честностью», извне воспринималось совершенно иначе и называлось совершенно другими словами: неуживчивость и дурной характер. При своей запальчивости и принципиальной несдержанности, в короткое время он нажил себе такую уйму врагов, что не мог уже с ними справиться. В конце концов критика заклевала этого заносчивого и высокомерного человека. Личный характер определил и литературную судьбу: в середине 30-ых годов Катенин прекратил литературную деятельность. Мысль об этом приходила ему десятью годами раньше, как мы видим из письма его к артистке Колосовой, где он объяснял разницу между ремеслом артиста и писателя:

«У вас есть одна, много две соперницы, но не они ваши судьи; у бедного поэта двести соперников, или именующимися таковыми, которые не только его судьи по полному праву, но при некоторых обстоятельствах, его единственные судьи, как, например, у нас, где никто не читает. Маленькие каверзы, маленькие лжи печатные, маленькие недоброжелательства всесильны против писа-

[1]) Соч. Плетнева т. 526—527.

теля, обязанного молчать, или унижаться, нарушая это молчание. Актеры, являясь перед лицом публики, презирают злобу, заставляя ее рукоплескать; торжество их минутное, но полное. Я никогда не слыхивал о талантливом актере, отвергнутом публикой и побежденном интригами; с писателями же иначе не случается... Все сие доказывает, что стихоплет, если он благоразумен, должен прекратить свою работу, коль скоро не может ни победить вкуса и идей читателей, ни сообразоваться с ними; чем более он стал бы писать, тем более навлек бы на себя врагов и гонителей, ибо фанатизм есть и в литературе, как в политике и религии».

СТИХИ КАТЕНИНА.

«Он даже до того простер свою гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как скоро становилась она модною».

Пушкин о Катенине.

I.

Две особенности Катенина как поэта обращают на себя прежде всего внимание.

Во-первых, у него почти нет мелких стихотворений. Он, как в прозе Гончаров, любитель больших полотен.

Во-вторых, это поэт по преимуществу эпический, а не лирик. В этом его отличие почти от всех других поэтов пушкинской плеяды.

В эволюции русской баллады от Жуковского к Пушкину ему должно принадлежать самое видное место.

По отношению к некоторым другим эпическим формам Катенин имеет много общего с одной стороны с Гнедичем, с другой — с ли-

цейскими товарищами Пушкина, между собою, впрочем, очень различными: Дельвигом и Кюхельбекером.

Характерное для романтиков стремление к старине и народности присуще и Катенину.

Как романтик, Катенин сюжетов искал себе обыкновенно в минувшем.

В «Мире поэта» (1822) — обширном стихотворении, которое Кюхельбекер в 1833 г., сидя в тюрьме в Свеаборге, перечел вновь и признал «одним из самых лучших лирических творений, какие только есть на русском языке», находим характерное для романтика признание:

И тщетно станет вдохновений
Теперь певец искать кругом:
Бессмертный стихотворства гений
Почиет непробудным сном.

Одною памятью еще мы в свете живы,
Ее лишь призраки наш мертвый красят сон,
Все счастие в мечтах; и подлинно щастливы,
Что не всего лишил нас злой судьбы закон.

И на крылах воображенья,
Как ластица, скиталица полей,
Летит душа, сбирая наслажденья
С обильных жатв давно минувших дней.

Из русской истории Катенин особенно любит Владимира Святого. Даже рондо, обозначенное им «Из французской старины», со-

держит рассказ о князе Владимире, даже в вольном переводе из Гете баллады «Певец» тот же Владимир.

В стольном Киеве великом
Князь Владимир пировал;
Окружен блестящим ликом
В светлой гридне заседал.
Всех бояр своих премудрых,
Всех красавиц лепокудрых,
Сильных всех богатырей,
Звал он к трапезе своей.

На пиру князь «изронил златое слово» — явный отголосок излюбленного Катениным «Слова о полку Игореве». Изображение пения певца еще более подтверждает это влияние.

Вещий перст живые струны
Всколебал; гремят перуны:
Зверем рыщет он в леса,
Вьется птицей в небеса.

«Свои вещие персты на живые струны воскладаше... Растекашеся мыслию по древу, серым волком по земли, сизым орлом под облакы».

Но часто вдохновляется Катенин и древнегреческой стариной: «Софокл», «Ахилл и Омир» и т. д.

В «Старой были», написанной размером и строфами Олега и посвященной Пушкину,

на состязании певцов у Владимира Святого первый приз—конь достается греку... Русский отказывается от состязания:

Ни с эллинским спорить охоты мне нет,
Ни петь я, как он, не умею.

Владимир присуждает русскому певцу второй приз—кубок. Кубок этот, пишет Катенин в послании Пушкину, теперь в руках Пушкина, которому принадлежит по праву как настоящему поэту.

Пушкин в своем стихотворном же ответе остроумно использовал стих Державина: «не пью, любезный мой сосед.»

II.

Современность Катенин затронул только в одной балладе, где, как увидим, время действия отечественная война. Балладу «Наташа» (1814 г.) сам Катенин сближал с «Женихом» Пушкина (1825 г.), видя тут у великого поэта нечто в роде состязания с ним. В чем? Вероятно, в степени народности.

Внешнего сходства тут немного. Характерно, что первое женское имя, какое употреблено было Пушкиным в балладах, не было уже новым именно в балладах с подчеркнутым русским колоритом. Так и раньше ге-

ронию своей первой поэмы Пушкин окрестил уже традиционным тогда именем «Людмила». К слову «Наташа» у Катенина рифмы «наша» и «чаша». Пушкин, повторяя эти рифмы, прибавляет еще «ваша». Есть сходство в последовательности рифм в строфе; *ababccdd*, но мужские и женские чередуются в обратном порядке: у Катенина: *жмжмжмжм*. Различны и размеры: у Катенина четырехстопный хорей, а у Пушкина ямб.

Катенин:

Ах! жила была Наташа,
Свет Наташа красота.
Что так рано, радость наша,
Ты исчезла как мечта?
Где уста, как мед душистый,
Бела грудь, как снег пушистый,
Рдяны щеки, маков цвет?
Все не впрок: Наташи нет

У Пушкина:

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышет.

У Катенина новая вариация старой темы о мертвом женихе (прототипом для русской поэзии была «Ленора» Бюргера). Катенин сделал свою героиню девушкой благочестивой и горячей патриоткой. Когда «вдруг поднялся враг войною Русь заграбить и зажечь» (дело идет о Наполеоне), Наташа сама стала побуждать милого итти на защиту отечества.

Не мое девичье дело,
Милый друг, тебя учить:
Не прогневайся, что смело,
Может, стану говорить;
Но прости мне укоризну:
Не сражаться за отчизну,
Одному отстать от всех,
Русским нам и стыд и грех.

Оказывается, ее милый давно и сам хотел, да все только за нее боялся. На прощание Наташа дает крест с мощами.

«Как в бой пойдешь с врагами, помолиться не забудь». Милый утешал ее:

Верь, хоть мертвый, хоть живой,
Не расстанусь я с тобой.

В день Бородина, в день именин Наташи — 26 августа друг ее был предан сырой земле.

И дошло известье злое,
И не ропщет сирота:
Свято небо ей благое,
Воля божия свята.

Не пила три дня, не ела,
Как больная исхудела;
Нет покоя ей, ни сна,
И как мертвая бледна.

Помолилась Наташа перед иконою и во сне явился ей ее милый «как живой».

Будит: „встань, проснись, Наташа!
Ждет давно нас свадьба наша;
Под венец скорей пойдем,
Вместе век свой заживем!
Нашу презрел Бог разлуку
Веру райский ждет покой;
Женишку дай, радость, руку,
Помолись, и в путь за мной!“
Тут Наташа помолилась:
Тут во сне перекрестилась:
Как сидела, как спала,
К жизни с милым умерла.

Когда появилась баллада Жуковского «Узник» (1819), в журналах было отмечено, что окончание ее было бы оригинально, если бы не существовало ранее «Наташи» Катенина.

В «Вестнике Европы» за 1823 г. (январь-февраль, 197 стр.) читаем:

«Наташа по справедливости имела успех более других (баллад Катенина). Мне случалось видеть ее во многих альбомах. Издатель «Сына Отечества» именем своих читателей благодарил Сочинителя за ее доставление. И нельзя не любить Наташи.» Далее, передавая

содержание баллады, критик высказывает свое мнение и о стихах: «Стихи в Наташе нравятся мне простотою и легкостью: ничего нет принужденного, ничего натянутого. Выражения:

Не мое девичье дело...
Не прогневайся, что смело...
Ах, Наташа, ретивое...

и многие другие придают ей вид оригинальности.»

На ту же тему о мертвом женихе написана была Катениным и другая баллада «Ольга», вольное подражание „Леноре" Бюргера (1816 г.). Она вызвала привязчивую критику Гнедича и блестящую защиту баллады, принадлежащую Грибоедову.

Баллада «Леший» (1815 г.) интересна своим размером: дактилохореические четверостишия чередуются с хореическими осьмистишиями:

Красное солнце за лесом село.
Длинные тени стелются с гор.
Чистое поле, стихло, стемнело;
Страшно чернеет издали бор.
„Отпусти, родная в поле,"
Просит сын старушку мать и т. д.

Мать не отпускала. Сын ушел самовольно. В лесу он заблудился, встретился с лешим, и тот увел его за собой. Тщетно искала мальчика мать. Оканчивается баллада традиционно:

надеждой на загробную встречу матери с сыном.

Здесь не найдет: дай ей боже
С ним увидеться хоть там

«Здесь» и «там» курсивом, как у Жуковского.

Балладу «Убийца» (1815) сближали с «Ивиковыми журавлями»: та же идея возмездия. Там журавли, здесь свидетелем убийства — месяц.

Приемыш убил ночью старика, своего благодетеля, с целью воспользоваться его добром. Перед смертью старик напомнил ему о боге.

„Есть там свидетель, он увидит,
Когда здесь нет людей"
Сказал, и указал в окошко.

Взглянул и убийца туда и увидел месяц. Овладел убийца имуществом старика, разбогател, но его стала преследовать мысль о возмездии.

Но что чины, что деньги, слава,
Когда болит душа?
Тогда ни почесть, ни забава,
Ни жизнь не хороша.
Так из последней бьется силы
Почти он десять лет;
Ни дети, ни жена не милы,
Постыл весь белый свет.

Один в лесу день целый бродит,
От встречного бежит,
Глаз на пролет всю ночь не сводит
И все в окно глядит.
Особенно когда день жаркий
Потухнет в ясну ночь,
И светит в небе месяц яркий,
Он ни на миг не прочь.
Все спят; но он один садится
К косящету окну.
То засмеется, то смутится,
И смотрит на луну.

Наконец он проболтался жене, а та выдала его властям, и он понес заслуженное наказание.

Критика привязалась к одному слову в балладе: в припадке исступления убийца называет месяц, очевидно, думая о старике, «плешивым». Психологически это вполне возможно.

. . . . месяц тут проклятый
И смотрит на меня,
И не устанет; а десятый
Уж год с того ведь дня.

•

Да полно что, гляди, плешивый!
Не побоюсь тебя;
Ты видно с роду молчаливый:
Так знай же про себя.

Этот «плешивый месяц» сыграл почти такую же роль в литературной репутации Ка-

тенина, как стих «О закрой свои бледные ноги» в начальной деятельности Брюсова. Все остальное забыли, а помнили только это.

III.

В 1820 г. в «Сыне Отечества» (№ 1) появилось произведение Катенина, носящее на себе несомненные следы хорошего знакомства автора со «Словом о Полку Игореве», под длинным и характерным заглавием: «Песнь о первом сражении русских с татарами на реке Калке под предводительством князя Галицкого Мстислава Мстиславича Храброго». Припомним, что в то время «Слово о Полку Игореве» обозначалось как «ироическая песнь».

Здесь мы встречаем у Катенина такие выражения, как «стадо галиц» (в «Слове» — «галици стады»), сравнение битвы с молотьбой и т. д. Длинное заглавие было потом отброшено автором: в «Сочинениях и переводах Павла Катенина» (1832 г.) произведение названо просто «Мстислав Мстиславич».

Стихотворение это Пушкин признал «исполненным огня и движения»; замечательно оно между прочим тем, что в нем особенно ярко выразилось постоянное стремление автора строго согласовывать форму с содержа-

нием. Сообразно с движением рассказа двенадцать раз меняется размер. В этом размерном отношении стихотворение является действительно чем-то исключительным в русской поэзии.

Как в «Слове о Полку Игореве», речь идет о неудаче русского оружия. В жестоком бою татары разбили русских. Кончился бой. Под ракитовым кустом лежит тяжело раненый Мстислав Мстиславич, князь Галицкий, и думает горькие думы, хочет приподняться и не может. Увидал его мчавшийся на коне, так же раненый, юный князь Даниил, зять Мстислава, и, забыв про свои раны, приказал отрокам, отнести тестя в ладью. Пристав к берегу, князья и дружина вознесли молитву богу и спасу христу и пречистой деве Марии», за свое спасение.

Всюду автор старался выдерживать народный стиль, но конечно, не всегда это ему удавалось. Припомним, что стихотворение помечено 1819 годом, т. е. писалось почти одновременно с «Русланом и Людмилой» Пушкина. Отметим кстати, что в первой поэме Пушкина Катенин видел только сказку, «лишенную колорита места и времени».

Начинает Катенин свой рассказ тремя пятистишиями амфибрахия с дактилическими окончаниями без рифм.

Не белые лебеди,
Стрелами охотников
Рассыпаны в стороны,
Стремглав по поднебесью
Испуганы мечутся
Не по морю синему,
При громе и молниях,
Ладьи белокрылые
На камни подводные
Волнами наносятся.
Среди поля чистого
Бежит православная
Рать русская храбрая,
От силы несчетныя
Татар победителей.

Далее идет 18 строк двухстопного ямба. Кое-где чувствуется влияние «Слова».

От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пращи — дождь,
Мечи — огонь.
Здесь мертвый вождь,
Тут бранный конь...
. . . . . .
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли.

О «витязе», лежащем замертво под ракитовым кустом, речь идет четырехстопным хореем—8 строк.

...Тул отброшен безполезный,
Конь лежит, в груди стрела;
Решето стал щит железный,
Меч—зубчатая пила.

При описании тяжелого положения князя хорей заменяется дактилем—8 строк.

Вздохи тяжелые грудь воздымают
. . . . . .
. . . . . .
Издали внемлет он ратному шуму:
Стелют, молотят снопы там из глав
Горькую витязь наш думает думу,
Галицкий храбрый Мстиславич Мстислав.

Стих, отмеченный нами курсивом, имеет прямую связь со «Словом»: «на Немизе снопы стелют головами, молотят цепи харалужными».

Но самые думы у Мстислава, у него, храброго, удалого, несмотря на всю их горечь, должны иметь в себе какую-то размашистость, простор, нельзя было сохранить тот же метр, как в стихе

Вздохи тяжелые грудь подымают.

Является трехстопный ямб с доминантой на второй стопе. Получается схема:

⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑

Впоследствии этот редкий размер поразил новизной и оригинальностью у Ивана Акса-

кова, в стихах, где говорится о широко разносящемся благовесте и о действии его на душу верующих.

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной.
И зов смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест взывающий
В полях разносится,

Этот размер в 1819 г. употребил Катенин, и расположение рифм у него приобретает особый народный склад.

Народный стих, кроме шуточных, базируется не на рифме. Но он и не чуждается ее. Если подвернулась она случайно, то нередко за ней следует другая и третья, рифмующая с первой. Чаще всего такое скопление однородных рифм бывает в конце песни. Молодец предложил своей милой писать ему письма.

Буди скучно жить будет одною,
Пиши письма чаще.
Я писать то ли сама не умею,
Писарям не верю:
Писаря то робята молодые,
Они три ночи гуляли,
Письма притеряли,
Письма притеряли,
Печати сломали.

У Катенина из 18 стихов первые шесть т. е. 1/3, без рифм, потом через строчку является однородная рифма, т. е. *abcbdbebqb*, так 12 стихов.

Ах! рвется на двое
В нем сердце храброе;
Не со крестом ли в бой
Хоть одному итти
На силы темные
Татар наездников?
Не попаведаться-ль,
Здоров ли верный меч?
Что не устал ли он
Главы поганых сеч?
Не уморился ли
Так долго кровью течь?
Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь:
Свались на прах за ним
И голова со плеч!
Нет срама мертвому,
Кто мог костями л е ч ь.

Далее замечательные переходы размеров:

И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.
И трижды истекши рудою обильной,
Тяжелые латы подвигнуть бессильный,
Упал.
Смертный омрак,
Сну подобный,
Силу князя
Оковал.

Бездыханный,
Неподвижный,
Беззащитный,
Он лежит.
Что о боже!
Боже правый,
Милосердный,
Будет с ним?
. . . . . .
Труп ли княжий,
Богатырский,
Стадо галиц,
Расклюет?
Кто из пепла
Жизнь угасшу
Новой искрой
В нем зажжет?.

И как в „Слове" вслед за „плачем Ярославны" идет исполнение ее желания, вслед за предложенным вопросом о спасителе князя идет рассказ о спасении. Теперь уже трехстопный анапест с рифмами попарно. В первой строке аллитерация на к:

В поле звонком стук конских копыт,
Скачет всадник весь пылью покрыт и т. д.

Это едет зять Мстислава Даниил.

Для передачи того потрясающего впечатления, каков произвел на Даниила вид его раненаго тестя, автор не считает, повидимому, возможным прибегать к какому-либо из обыч-

ных размеров, рифмы тут так же неуместны— и автор употребил пятистрочный хорей, где стопа первая и третья ударений не имеет или имеет слабые, зато стопы 2 и 4 с определенным ударением. Получается схема:

⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ –

Пусть бы встретился с ним лютый зверь,
Пусть привиделся б рогатый бес, и т. д.

5 раз еще меняется размер: трехстопный анапест, пятистопный ямб, шестистопный, четырестопный. Кончается все гекзаметром:

Так Мстислав Мстиславич храбрый галицкий молвил,
На руки склонши главу, Даниил его слушал безмолвно... и т. д.

IV.

«Г. Катенин имеет истинный талант!... как жаль, что в сочинениях его не достает вкуса» писал Вильгельм Кюхельбекер вскоре после появления песни о Мстиславе Мстиславиче.*) Начало ее, кончая словами «И крови пар встает с земли», Кюхельбекер называет «превосходным, достойным лучших писателей!»... «Стихи не Жуковского, не Батюшкова, но

*) „Невский Зритель" 1820 г. Февраль. 106-113.

стихи, которые бы принесли честь и тому и другому!!. Истинный талант виден и в стихах про щит, обратившийся в решето, и меч,—в зубчатую пилу!». Но далее ряд крайне неудачных выражений: «Не понаведаться ль, здоров ли верный меч» и т. д. «Читатель, может быть, не поверит, что сие и прежнее писано одним и тем же пером, что оно находится в одном и том же стихотворении.» Далее рецензент отмечает «еще прекрасное место»:

И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.

«Оно сильно, живописно, ужасно!. Самый размер заслуживает внимание по удивительному искусству, с которым он приноровлен к мыслям.»

«В стихотворении Катенина мы находим сочетание нескольких родов размеров: новизна на Русском языке»....

У нас могут существовать размеры 3 родов: 1-е — размер наших народных песен, 2-е — размер, заимствованный Ломоносовым у немцев, основанный на удлинении слов и на рифмах; «3-е сей же размер, но без рифм, подражание количественному размеру древних.»

«Каждый из сих трех размеров» — продолжает Кюхельбехер — «имеет можно ска-

зать особенный слог того рода поэзии, коему он принадлежал первоначально. Смешивать сии три слога почти все равно, что говорить —по примеру наших бывших модников—лепетом, составленным из слов русских и французских, и сверх того вмешивать выражения греческие и латинские. Употребление же различных размеров одного и того же рода не только позволительно, но, как нам кажется, должно послужить к обогащению языка и словесности»[1]).

«Катенин, к сожалению, соединяет все три рода возможных стихосложений; не от того ли произошли шаткость и пестрота его слога?. Впрочем публика и поэты должны быть благодарны г-ну Катенину за единственную, хотя еще и несовершенную, в сем роде попытку, сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзиею русских народных песен, сказок и преданий—с поэзиею русских нравов и обычаев.»

V.

В 1832 г. один из приятелей Катенина, поклонник его таланта, Николай Бахтин выпустил в 2 частях «Сочинения и переводы

[1]) Очевидно, Кюхельбекер размер народных песен видит в начале стихотворения, подражание же размеру древних видит в гекзаметре.

в стихах Павла Катенина», куда не вошло большинство его драматических произведений. Книга снабжена предисловием «От издателя», которое Пушкин признал весьма замечательным.

«Едва ли кто либо из наших стихотворцев», говорит Бахтин, «изданием полного собрания своих произведений приобрел от современников похвалу, которою они скупо наделяли его прежде. Я ожидаю сего благого последствия от издания в свет стихотворений П. А. Катенина.»

Далее издатель говорит о несправедливости критиков:

«Почти при вступлении на поприще словесности, он (Катенин) был встречен самыми несправедливыми и самыми неумеренными критиками: ... «Появление каждого нового стихотворения г. Катенина сопровождалось в журналах новыми нападениями его антагонистов».

«Глубокое молчание г. Катенина и верность правилам, которых он объявил себя единожды последователем, утомили наконец его противников... Все они мало-по-малу смолкли, и благоприятные отзывы о стихотворениях Катенина начали появляться в журналах; но отзывы сии не могли произвести вполне действия своего над публикою, не быв подкреплены чтением самих стихов, ибо

кому охота перечитывать «Сын Отечества» и «Вестник Европы» за минувшие годы?»

Главным достоинством Катенина Бахтин считает оригинальность, «одно из самых редких качеств наших поэтов.»

«Г. Катенин в этом отношении мало имеет соперников, которые с успехом могли бы с ним состязаться. Не только содержание всех стихотворений, заключающихся в 1-й части сего издания, принадлежит ему и не заимствовано ни у какого иностранного или русского поэта; но даже краски и форма большей части из них совершенно новы. Наташа, Убийца, Леший, Метислав Метиславич, Старая Быль, Элегия, суть единственные в своем роде произведения, в которых все создано вновь, или по крайней мере является в новом виде».

Отметив «богатство размеров, приспособленных к содержанию», Бахтин защищает Катенина и от упрека в употреблении обветшалых слов. Катенин употребляет их только там, где это нужно. Вообще же слог его разнообразен, как предметы им описываемые.

В наши дни от такого же упрека и точно также приходилось защищаться Вячеславу Иванову.

Надежды Бахтина не оправдались. Читатели тридцатых годов не заинтересовались стихами Катенина: у них складывались уже

не-русского языка, который они склонны иногда смешивать со славянским. К этой группе относятся Грибоедов, Жандр, Кюхельбекер. Что касается до оригинальности стихов Катенина, о которой говорит Бахтин, то она у Катенина внешняя. Истинная оригинальность состоит в новом взгляде на давно знакомые вещи, а не в поисках новых сюжетов и неупотребляемых другими размеров и выражений. При том же не все оригинальное тем самым и хорошо. Катенину принадлежит заслуга во многих отношениях хронологического первенства, но и только.

VI.

Один только Пушкин согласился в общих чертах с той оценкой Катенина, которую дал Бахтин. Конечно, похвалы его гораздо умереннее, но и они покажутся неумеренными читателю нашего времени.

Пушкин начинает с возражения в одном пункте Бахтину.

«Издатель в начале предисловия, весьма замечательного, упомянул о том, что П. А. Катенин почти при вступлении на поприще словесности был встречен самыми несправедливыми и самыми неумеренными критиками.

Нам кажется, что г. Катенин скорее мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на ее строгость или пристрастную привязчивость. Критики, по настоящему, у нас еще не существует».

Это мнение Пушкин высказывает года два спустя после того, как в «Литературной Газете» печатались «Размышления и разборы». Следовательно, как критик и Катенин Пушкина не удовлетворял.

Итак, не строгость и придирчивость критики, а только «холодность», причины которой Пушкин и объясняет в следующем замечательном абзаце:

«Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикой сочинениям г. Катенина, то во всех отношениях она делает ему честь» и т. д. Далее, Катенин назван одним из первых апостолов романтизма, отрекшимся от этого направления, как скоро оно стало достоянием толпы, и обратившимся «в своей гордой независимости» к уже развенчанным классическим идеалам». Место это приводилось нами ранее целиком и теперь повторять его не будем.

История взаимных отношений между разбираемым автором и читателями и посвящена большая часть рецензии Пушкина.

Минуя «Наташу», Пушкин пишет: «первым замечательным произведением г. Кате-

другие вкусы. Приближалась эпоха увлечения Бенедиктовым и главным антагонистом и антиподом Катенина — Бестужевым-Марлинским. Для наиболее чутких из литераторов нарождался Гоголь.

Появилось три любопытных отзыва о книге. В «Северной Пчеле», наиболее ходком органе того времени, пресловутый Фаддей Булгарин обрушился на Катенина и особенно на Бахтина, никому не известного, а потому и не могущего служить авторитетом, за его приятельски-пристрастную оценку стихотворений Катенина. Другое дело он, Фаддей Булгарин, автор целого ряда популярных романов. Его вкусу читатели могут верить. К тому же он так безкорыстно и беспристрастно любит русскую литературу, что ради правды не пожалел бы и отца родного. Пускай же читатели и на этот раз поверят его авторитету и беспристрастию, поверят, что стихи Катенина не хороши. В доказательство Булгарин приводит ряд отдельных выражений и одно стихотворение «Рондо» целиком, над которыми и издевается.

«Склонии главу», вм. «склонивши» — не хочет ли автор, чтобы русские поэты вернулись к титлам? В «Лешем» мать пугает сына:

> По лесу волки бродят стадами,
> Там ядовитый скрыт мухомор;
> Филины в гуще воют с совами...

Если мухомор «скрыт», то чего же его бояться? В какой «гуще»? Не в кофейной ли?

Кроме глумления Булгарина в «Северной Пчеле», «Сочинения и Переводы в стихах Павла Катенина» вызвали два серьезных отзыва: один—отрицательный, другой—положительный. Первый, появившийся в «Московском Телеграфе» (1833 г., 50, стр. 562—572) принадлежит, вероятно, Полевому, второй — в «Литер. прибавлениях к Русскому Инвалиду»—Пушкину.

«Не много писал г. Катенин, но сочинения его бывали поводом ко многим спорам»— так начинается рецензия Полевого. Не будучи в состоянии припомнить всех состязаний «за, против, во славу или в ущерб сочинений г-на Катенина», рецензент заявляет, что в его памяти «сочинение г-на Катенина и спор за него остались неразлучны.»

Но все это отошло в область прошедшего и нам теперь уже не из-за чего спорить: «мы, собственно, не принадлежим ни к одной из тех партий, которые развивали знамена и шли в борьбу за Ольгу, за Мстислава, за Лешего, за октавы и за мнения г-на Катенина.» Поэтому можем быть беспристрастнее.

Катенин принадлежит к той группе наших писателей, которые готовы принять романтизм, но только под знаком славянства, т.-е. сохранения национальных особенностей древ-

не-русского языка, который они склонны иногда смешивать со славянским. К этой группе относятся Грибоедов, Жандр, Кюхельбекер. Что касается до оригинальности стихов Катенина, о которой говорит Бахтин, то она у Катенина внешняя. Истинная оригинальность состоит в новом взгляде на давно знакомые вещи, а не в поисках новых сюжетов и неупотребляемых другими размеров и выражений. При том же не все оригинальное тем самым и хорошо. Катенину принадлежит заслуга во многих отношениях хронологического первенства, но и только.

VI.

Один только Пушкин согласился в общих чертах с той оценкой Катенина, которую дал Бахтин. Конечно, похвалы его гораздо умереннее, но и они покажутся неумеренными читателю нашего времени.

Пушкин начинает с возражения в одном пункте Бахтину.

«Издатель в начале предисловия, весьма замечательного, упомянул о том, что П. А. Катенин почти при вступлении на поприще словесности был встречен самыми несправедливыми и самыми неумеренными критиками.

Нам кажется, что г. Катенин скорее мог бы жаловаться на безмолвие критики, чем на ее строгость или пристрастную привязчивость. Критики, по настоящему, у нас еще не существует».

Это мнение Пушкин высказывает года два спустя после того, как в «Литературной Газете» печатались «Размышления и разборы». Следовательно, как критик и Катенин Пушкина не удовлетворял.

Итак, не строгость и придирчивость критики, а только «холодность», причины которой Пушкин и объясняет в следующем замечательном абзаце:

«Что же касается до несправедливой холодности, оказываемой публикой сочинениям г. Катенина, то во всех отношениях она делает ему честь» и т. д. Далее, Катенин назван одним из первых апостолов романтизма, отрекшимся от этого направления, как скоро оно стало достоянием толпы, и обратившимся «в своей гордой независимости» к уже развенчанным классическим идеалам». Место это приводилось нами ранее целиком и теперь повторять его не будем.

Истории взаимных отношений между разбираемым автором и читателями и посвящена большая часть рецензии Пушкина.

Минуя «Наташу», Пушкин пишет: «первым замечательным произведением г. Кате-

нина был перевод славной Биргеровой Леноры. Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского, который... ослабил дух и формы своего образца. Катенин это чувствовал и вздумал показать нам Ленору в энергичной красоте ее первобытного создания: он написал Ольгу. Но сия сволочь, заменяющая воздушную цепь теней, сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнение, в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым. После Ольги явился Убийца [1]), лучшая может быть из баллад Катенина. Впечатление, ими произведенное, было и того хуже: убийца в припадке сумасшествия, бранил месяц, свидетеля его злодеяний, плешивым. Читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики.

Таковы были первые неудачи Катенина; они имели влияние и на следующие его произведения. На театре имел он решительные успехи. От времени до времени в журналах и альманахах появлялись его стихотворения, коим, наконец, начали отдавать справедливость и то скупо и не охотно. Между ними

---

[1]) Ошибка Пушкина: «Убийца» явился на год раньше.

отличается Мстислав Мстиславич, исполненное огня и движения, и Старая быль, где столько простодушия и истинной поэзии».

В заключение Пушкин говорит о произведениях Катенина последних лет (1829—1831) и о его переводах:

«В книге, ныне изданной, просвещенные читатели заметят Идиллию, где с такой прелестной верностью постигнута буколическая природа, не Геснеровская чопорная и манерная, но древняя — простая, широкая, свободная; меланхолическую Элегию, мастерской перевод трех песен из Inferno и собрание Романсов о Сиде, сию простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую».

О внешней стороне стихов Катенина находим также хвалебный отзыв:

«Знатоки отдадут справедливость ученой отделке и звучности гекзаметра и вообще механизму стиха г. Катенина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами».

То, что Пушкин сказал про Идиллию Катенина, он мог бы применить и к Идиллиям Дельвига. Поэтому это произведение Катенина мы считаем удобнее рассматривать при характеристике поэзии Дельвига.

Теперь же обратимся к «Элегии» и стихотворениям Катенина, появившимся после 1832 г. и потому не вошедшим в указанное собрание.

VII.

«Элегия», написанная в 1829 г., имеет, несомненно, автобиографическую основу. Поэт Эвдор был сыном благородных родителей. Предки его ходили под Трою. Все их дети и внуки были ратные люди. Отец Эвдора служил «царю-полководцу» Филиппу Македонскому. «Сам же Евдор служил царю Александру». Принимал участие в его походах. «С ним от Эллы прошел до Индейского моря, бился во многих боях: но духом незлобный, лирой в груди заглушал военные крики». «Верно бы царь наградил его даром богатым, если б Евдор попросил: но просьб он чуждался». А потом царь, «славою дел ослепясь», «победитель», приблизил к себе льстивых и послушных, стал преследовать смелых и правдивых. Убил Клита, казнил за правду Каллисфена, прежних своих сподвижников «прочь отдалил.» Тогда-то «бедный Евдор укрылся в наследие предков».

К сельским трудам непривыкший, лирой любезной
Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе славу.

Конечно, это—сам Катенин в своеобразном авторском отражении.

Далее автобиографический элемент еще более усиливается. Интересно, как автор объ-

ясняет, почему пение Евдора (— творчество Катенина) не получило должной оценки и признания.

Льстяся надеждой, предстал он на играх Эллады;
Демон враждебный привел его! правда: с вниманьем,
Слушал народ; в полголоса хвальные речи
Тут раздавались и там, и дважды и трижды
Плеск внезапный гремел; но судьи поэтов
Важно кивали главой, пожимали плечами,
Сердца досаду скрывая улыбкой насмешной.
Жестким и грубым казалось им пенье
Евдора.

Упреки, насмешки и глумление критиков Катенина, главным образом, направлены были против его языка, который находили тяжелым, жестким и архаичным. Точно такие же упреки и то же пожимание плечами встретил в недавнее время со стороны обывательской критики и Вячеслав Иванов и точно также на защиту его вставали не «судьи поэтов», а сами поэты.

Слова «сердца досаду скрывая», думается нам, следует объяснять только личным раздражением автора: вряд ли кто из осуждавших Катенина завидовал ему: просто — язык его, стремившийся быть медлительным и величавым — удачно или неудачно — это другой вопрос — пришелся не ко двору и действительно большинству не нравился. Спрос был на язык легкий и живой.

Затем в «Элегии» идет место, автобиографичность которого засвидетельствована самим автором в письме к Пушкину. Как Эвдор, так и Катенин не любили «новых поэтов», выделяя из них только одного. Судьи их думали иначе.

Новых поэтов поклонники судьи те были,
Коими славиться начал град Птоломея.
Юноши те предтечей великих не чтили:
Наг был в глазах их Омир, Эсхил неискусен,
Слаб дарованьем Софокл, и разумом Пиндар;
Друг же друга хваля, и до звезд величая,
Юноши (семь их числом) назывались Плеядой:
В них уважал Евдор одного Феокрита.
Судьи с обидой ему в венце отказали.
Он, не желая врагов печалию тешить,
Скрылся от них; но в дальнем, диком Епире,
Сидя у брега реки, один и прискорбен,
Жалобы вслух восылал на Муз и на Фива.

Кто же был Феокритом для Катенина? Не Дельвиг, писавший как Феокрит, идиллии, а Пушкин, их не писавший. Это возможное недоразумение устраняет Катенин в письме к Пушкину из Ставрополя 4 янв. 1835 г.

«Что у вас нового, или лучше сказать: у тебя собственно? Ибо ты знаешь мое мнение о светилах, составляющих нашу поэтическую плеяду: в них уважал Евдор одного Феокрита: et ce n'est pas le baron Delvig, je vous en suis garant».

Неудача на поэтическом поприще ввергла Евдора в отчаяние. Он горько жалуется:

Фив и Музы! нет вам жестокостью равных
В сонме богов, небесных, земных и подземных.
Все, кроме вас, молельцам благи и щедры:
Хлеб за труды земледельцев рождает Димитра,
Гроздие Вакх, елей Афина-Палада;
Мощная в битвах, она-ж превозносит героев,
Правит Тидида копьем и стрелой Одиссея...
Внемлет пловцам Посидон, и смиряющий бурю,
Входит утлый корабль в безмятежную пристань.
Пылкому юноше верный помощник Киприда:
Все побеждает любовь, и счастливей бессмертных,
Нектар он пьет на устах обмирающей девы.....
Музы и Фив! Одни вы безжалостно глухи,
Горе безумцу, служащему вам! Обольщенный
Призраком славы, тратит он счастье земное;
Хладной толпе в посмеянье, зависти в жертву
Предан несчастный, и в скорбях, как жил, умирает.

Любимцы муз всегда не в ладу со счастьем: достаточно вспомнить Орфея, Гомера, Сафо, Эсхила, Софокла, Эврипида.

Камни и рощи двигал Орфей песнопеньем,
Строгих Ерева богов подвигнул на жалость;
Люди-ж не сжалились: жены певца растерзали.
. . . . . .
Злый Аполлон! На то ли сам ты Омиру
На ухо сладостно пел бессмертные песни,
Дабы скиталец, слепец, без крова и пищи,
Жил он незнаем, родился и умер безвестен?
Всуе приняла ты дар красоты от Киприды,
Сафо певица! Музы сей дар отравили:
Юноша гордый певицы чудесной не любит,
С девой простой он делит ложе Гимена,
Твой же брачный одр — пучина Левката,
Бранный Эсхил! Напрасно на камни чужбины

Мнишь успокоить главу, обнаженную Хроном:
С смертью в когтях орел над нею кружится.
Старец Софокл! умирай: иль несчастней Эдипа,
В суд повлеченный детьми, прославлен безумным,
После великих примеров себя ли напомню?
Кроме чести всем я жертвовал Музам;
Что-ж мне награда? Зависть, хула и забвенье.

Так горько жалуясь, Евдор заснул, и во сне ему явилась его умершая невеста, которая указала поэту, как он был не прав в своих жалобах. Он должен быть благодарен судьбе, что муза его не покинула. Бедствия в жизни неизбежны, а музы утешают в них.

Кто укреплял тебя в бедствиях, в ударах судьбины,
В горькой измене друзей, в утрате любезных?
Кто врачевал твои раны? — Девы Парнаса.
Кто в далеких странах, во брани кичливой,
Душу мертвящей видом кровей и пожаров,
Ярые чувства кротил, и к стону страдальцев
Слух умилял?—они-ж, Аониды благие.
. . . . . .
Счастлив певец, счастливейший всех человеков,
Если Хром, от власов обнажающий темя,
В сердце еще не убил священных восторгов.

Основная мысль элегии — награда творчества в самом творчестве — должна была быть особенно дорога и близка Пушкину, а также и всем другим правоверным поэтам Пушкинской плеяды. «Цель поэзии — сама поэзия» девиз поэтов этого поколения. Раньше (Жуковский) и после (Лермонтов, особенно Не-

красов) поэзия—средство, не важно к чему: к небесному или к земному.

Судьи лишили Евдора венца? Ну, так что-ж?

„Иль без венцов их нет награды поэту?
Ах! в таинственный час, как гений незримый
Движется в нем и двоит сердца биенья,
Оком объемля вселенной красу и пространство,
Ухом в себе внимая волшебное пенье,
Жизнию полон, подобный жизни бессмертных,
Счастлив певец, счастливейший всех человеков.

На это стихотворение Катенин смотрел, как на свое profession de foi, как на завещание потомству.

16 окт. 1828. он писал Бахтину. «Судите ее, почтенный, и строго судите: скажите всю правду, ибо ничто не вреднее поэту собственного ослепления: я же теперь так ослеплен, так очарован своим произведением, что и сказать стыдно; одно только скажу: в моих глазах оно лучше всего, что я когда либо сделал, и еслибы одну вещь я принужден был выбрать для сохранения в потомстве, не колеблясь бы эту всем предпочел».

VIII.

В своей рецензии на «Сочинения и переводы Катенина» Пушкин помещает «Элегию» в число тех оригинальных произведений

разбираемаго автора, на которые считает нужным обратить внимание читателей, т. е. считает ее одним из лучших. «В книге, ныне изданной, просвещенные читатели заметят... меланхолическую Элегию». Так как ранее иронически говорилось о «читателях, воспитанных на Флориане», которые лучшую, по мнению Пушкина, из баллад Катенина «почли ниже всякой критики», то определение читателей, которые сумеют оценить Катенина, словом «просвещенные» не простая учтивость, а приобретает особую выразительность: читатели невежественные и теперь не оценят Катенина.

1835 г. Катенин «обновил сонетом», имеющим много общего с выше приведенной «меланхолической Элегией»:

Кто принял в грудь свою язвительные стрелы
Неблагодарности, измены, клеветы,
Но не утратил сам врожденной чистоты,
И образы богов сквозь пламя вынес целы;
Кто терновым путем идя в труде, как пчелы,
Сбирает воск и мед, где встретятся цветы,
Тому лишь шаг, и он достигнул высоты,
Где добродетели положены пределы.
Как лебедь восстает белее из воды,
Как чище золото выходит из горнила,
Так честная душа из опыта беды:
Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила,
Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды,
И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила.

Этот сонет Катенин прислал Пушкину с просьбой напечатать в «Библиотеке для чтения». Но цензура не пропустила этого стихотворения.

Узнав про это, Катенин писал Пушкину: «О бестолковой трусости цензуры имел я вести от Каратыгина, послал к нему для напечатания две басни; одна из них: Предложение нравилось мне, но не пришлося по мерке прокрустовой кровати..... что же касается до сонета, то я почти недоумеваю, в чем провинился... mon vers subsiste, и я считаю его одним из лучших, именно по гумористической энергии».

Годом раньше Катенин напечатал отдельной книжкой самое свое крупное по размерам произведение: сказку «Княжна Милуша». Эту сказку Пушкин считал лучшим из всего, что писал Катенин, как видно из ответного письма последнего: письмо Пушкина с этим отзывом до нас не дошло. Сам автор ценил свое детище меньше:

«За Милушу благодарю, хотя не вполне согласен с твоим мнением, якобы она мое лучшее творение: отцы не всегда так расположены к детям своим, как посторонние».

Что нравилось Пушкину в этой сказке? Из других произведений того же автора к этой сказке всего ближе «Старая Быль», которую также хвалил великий поэт.

Он поместил этот рассказ в «Северных Цветах», снабдив его следующим обращением к издателю; «П. А. Катенин дал мне право располагать этим прекрасным стихотворением. Я уверен, что вам будет приятно украсить им ваши «Северные Цветы».

Зачем было сделано это примечание? Как действительное обращение к издателю, при тех отношениях, какие существовали между Пушкиным и Дельвигом, издателем альманаха, оно было совершенно излишне и фальшиво. Ясно, что это делалось только для читателей. В лестных словах «прекрасный», «украсить» ни в коем случае нельзя видеть здесь иронии. Некоторая доля преувеличения, неизбежная в учтиво официальном стиле, здесь, вероятно, есть: в почтовой прозе или с глазу на глаз Пушкин хвалил бы иначе, но что вообще великий поэт одобрял эту вещь—несомненно. Печатались в «Северных Цветах» некоторые вещи других поэтов, которые, вероятно, нравились Пушкину и Дельвигу еще больше, чем «Старая Быль» и однакоже таких лестных рекомендаций при них не делалось. Думается, что здесь сказалось обычное у Пушкина удивительное умение попадать в тон человеку, с которым он имел дело. Свои письма к Вяземскому, любителю скабрезных шуток, Пушкин густо насыщает соответствующими выражениями, Языкову пишет посла-

ние в чисто языковском стиле, так что позднейшая критика указывала, что так должен был написать сам Языков. Катенин и спор были неотделимы, как отмечал рецензент „Московского Телеграфа". Он был сплошной вызов общественному мнению. В самых симпатиях своих к старым богам в литературе он плыл против течения. Пушкин, как никто другой, подчеркнул это катенинское свойство в своей статье о нем. Но самые похвалы Катенину, нарочито подчеркиваемые Пушкиным и в статье и в примечании к «Старой Были", стремились быть, в духе самого Катенина, вызовом общественному мнению.

IX.

„Старую Быль" Пушкин хвалил потому, что в ней „столько простодушия и истинной поэзии". За это же мог хвалить он и сказку „Княжна Милуша". Но в этой сказке были еще места — лирические отступления—мимо которых Пушкин вряд ли мог пройти равнодушно. Сказка написана пятистопным ямбом с постоянной цезурой строфами по восьми стихов. Этим размером у Пушкина написано „19 октября 1825 г.", „Три ключа" и „19 октября 1836 г.". Везде грустные размышле-

ния, сдержанный, и тем более глубокий лиризм охлажденного чувства.

Эти стихотворения Пушкина по размеру и настроению почти не имеют себе параллелей в современной ему лирике. Отступления в „Княжне Милуше“ до некоторой степени восполняют этот пробел. Здесь Катенин более всего является поэтом Пушкинской плеяды.

Потужив о том, что теперь не весна, а весной автор,— может быть, помолодел бы в песнях, поэт продолжает:

6.

Но, горе мне! теперь стрелец нещадный
Охотится в туманных небесах,—
И солнца лик чуть выглянет отрадный,
Уже спешит закутаться впотьмах;
Пернатыя давно в пределах юга,
В домах огни, за воротами вьюга,
По телу дрожь, а помыслы ума
Все холодны и мрачны как зима.

7.

Дождись весны, вы скажете: не к спеху
Твой мелкий труд; пой складно, иль молчи.
Чем голосом наделать хриплым смеху,
Пей липов цвет и грейся на печи.
Чредой придут, чредой пройдут морозы;
Опять тепло, и соловьи, и розы,
Все будет, чем роскошествует твой Лель:
Тогда вставай и ладь свою свирель.—

8.

Вы правы: все чредой с начала света
Меняется, и блекнет и цветет;
Но срочные даны нам в жизни лета,
И может быть, судьба мой сводит счет;
И нынче же, пушной на праздник ивы,
Иль молодой для щей сбирать крапивы,
Толпа ребят придет к ограде той,
Где буду я лежать в земле сырой.

9.

Что-ж делать? петь, пока еще поется,
Не умолкать, пока не онемел.
Пускай хвала счастливейшим дается;
Кто от души простой и чистой пел,
Тот не искал сих плесков всенародных;
В немногих он, ему по духу сродных,
В самом себе, получит мзду свою,
Власть слушать, власть не слушать; **я пою.**

Опять знакомый мотив. Архаическая поэтическая вольность в расположении слов: „голосом наделать хрипым“ и особенно „пушной на праздник ивы“ — отголоски еще старых до пушкинских приемов.

Приведу еще 6 первых строф четвертой песни.

1.

Когда корабль свой вещий и крылатый,
Свершивший путь за тридевять морей,
Из дальных стран везущий груз богатый:
Книг письмена, булат богатырей,

Наряд красы: монисты и алмазы,
И в стекляниках ум, и все ума проказы,
Сам с лирой став на лаковый помост,
Ко пристани направил Ариост,

2.

На берега, кипящие народом,
С веселием он обращал свой взор:
Отличный всем: достоинством и родом,
Там зрелся дам и рыцарей собор;
Оттоль к нему неслися звуки трубны,
Рук громкий плеск, кимвал, и рог и бубны;
И странств его все радуясь концу,
С венками шли во сретенье певцу.

3.

Былые дни поэзии счастливой!
О как по вас в душе моей скорблю.
Я не хочу, глупец самолюбивый,
Равняться с ним: большому кораблю,
Как ведомо, и плаванье большое;
Но челноку опасней буря вдвое,
И озеро безвестное ему
Труднеи оплыть, чем Океан тому.

4.

Столь пышная не надобна мне встреча;
Но чтоб друзей хоть малое число
На берегу следили издалеча
Мое валы борющее весло...

5.

Но где они? большую половину
Скосила смерть; другие... берег пуст.

Едва двух-трех я глазом там окину,
И те молчат: а тот, из чьих бы уст
Всех прежде я привет услышал друга,
Склонен на одр мучительный недуга
Лежит без сил, нас разделяет даль,
И в первый раз мне от него печаль.

6.

Но до нее читателям нет нужды.
Они весьма надменная семья;
Им все-труды, все скорби наши чужды,
И всяк из них свое лишь знает я;
А из чего мы бьемся для забавы
Чужой? Бог весть: нет выгод, мало славы,
А бьемся; так: судьба; взялся за гуж,
Не жалуйся, что дюж или недюж.

Катенин не мог обойтись без того, чтобы не упрекнуть читателей в эгозме и не обругать их „надменными". Эпитет, который так часто прилагался к нему самому.

Если верить Писемскому, Катенин, подобно Пушкину, гордился древностью своего рода. И если Пушкин не раз выводил своих отдаленных предков, сказкой своей Катенин хотел почтить древний род своего лучшего друга князя Ник. Серг. Голицына.

Этот Ник. Голицин писал стихи. Его стихотворения («Вакх» и «Торжество любви») напечатаны были в виде приложения вместе с «Сочинениями и переводами» нашего поэта: произведений князя, объяснял издатель Бах-

тин, «к сожалению слишком мало для издания особой книгою».

У Голицына та же любовь к переходам и разнообразию размеров внутри одного и того же стихотворения: в стих. «Вакх» на 6 страницах 7 раз меняется размер. Очевидно, в лице его мы находим последователя Катенину. Но ученик может превзойти учителя. Один из рецензентов, вероятно, в нику Катенина,—заявлял, что стихи Голицына гораздо легче и лучше Катенинских.

Ник. Голицыну хотел посвятити автор «Милуши» свою сказку, где главным героем является один из отроков князя Владимира—Всеслав Голица, родоначальник князей Голицыных.

Княжна Милуша - дочь князя Владимира и невеста Всеслава. Тетка княжны волшебница Проведа требует, чтобы Всеслав на опыте доказал, достоин ли он руки Милуши. Свадьба отлагается. Рассказ о странствованиях Всеслава и о тех искушениях и соблазнах, которые встречались ему на пути, и составляет главное содержание сказки, не раз заставляющей вспомнить «Руслана и Людмилу»: упоминается даже волшебник Финн.

Кончается сказка свадьбой и похвалой Милуше и всем женщинам в ее потомстве. Их добрые примеры, переходя из рода в род,

да останутся навсегда у барынь и княгинь по всей Руси. Заключительные слова сказки

«. . . Честь барыням! Аминь.»

X.

Перед сказкою помещено обращение «Читателю вместо предисловия», где встречаем обычное высокомерие Катенина. Если найдется хоть один читатель вполне по вкусу автора и этот единственный читатель одобрит сказку, автору наплевать на толки критиков.

Почтеннейший! Хотя-б всего один
Нашелся ты в России просвещенной,
Каких ищу: во-первых, дворянин
И столбовой, служивой и военной,
Душой дитя, с начитанным умом,
И русский всем, отцом и молодцом,
Коли прочтя в досужный час, Милушу
Полюбишь ты, я критики не струшу.

Произведение свое Катенин посвятил князю П. Б. Голицыну (П. С. Голицын, для которого оно предназначалось, умер до окончания сказки) и является вопрос, считает ли Катенин то лицо, которому посвящает свое детище, единственным желательным для него читателем.

Про это приведенное нами стихотворное «вместо предисловия» рецензент из «Библ.

для Чтения» сказал, что «это контракт между автором и его читателем, заключенный в восьми стихах: поэт договаривается о нижеследующем: 1) чтобы его читатель был дворянин; 2) чтобы он был столбовой дворянин; 3) чтобы он был служивый и военный; 4) чтобы он был душою дитя; 5) чтобы он был с начитанным умом; 6) чтобы он был русской, отцом и молодцом; 7) чтобы он читал «Милушу» в досужный час... Со стороны поэта не видно никаких условий в пользу читателя: все выгоды для него, — читатель, вполне удовлетворяющий собою обязательству, должен производить всю работу чтения на свой страх».

Таких любителей нашлось, повидимому, немного. Замалчивание, о котором говорил Пушкин раньше, распространилось и на самое крупное по размерам и самое лучшее, по мнению Пушкина, из стихотворных произведений Катенина. Тем интереснее один появившийся отзыв.

«Когда взял я в руки «Княжну Милушу» я получил странное впечатление, которого никак описать не могу. Оно происходило от имени автора. Я никогда не читал трех строк г. Катенина, потому что верю всему, что пишут в газетах и журналах, а в газетах и журналах писали обыкновенно, что стихи его не хороши... Читать ли «Милушу»? Не читать

ли «Милуши»? И во время этого раздумья я как-то откинул первую страницу».

Прочитав половину поэмы, «потому что в один присест никак нельзя ее преодолеть», рецензент счел нужным поделиться своим мнением с читателями. «Стихи Катенина, право, не так дурны, как меня уверяли. Я нашел в его сказке много хороших мест, много счастливых мыслей... и много несчастных стихов: он довольно тяжел, — вот весь недостаток! И этот недостаток стихи его разделяют с золотом» [1]).

Главная причина неуспеха «Княжны Милуши», конечно, в том, что она запоздала. Появись сказка в эпоху «Руслана и Людмилы», и прием мог быть другой.

Мало популярный, как поэт, среди современников, имея только нескольких усердных почитателей — все известные наперечет: Бахтин, Голицын, Каратыгин, Колосова, Кюхельбекер да двух великих писателей — Пушкина и Грибоедова — защитниками, а против себя всю остальную литературу и главное — дух времени, Катенин, перестав выступать в печати, еще при жизни был забыт.

Когда он умер (в 1853 г.), Плетнев посвятил ему прочувствованный некролог, где отмечал его заслуги, как драматического пи-

---

[1]) «Библ. для Чтения» 1834, III, отд. VI, стр. 2—3.

сателя. О балладах и других стихотворениях Плетнев не счел нужным вспоминать.

Конечно, в истории русского театра Катенин занимает более заметное место, чем в истории русской поэзии. Новейшие исследователи (проф. Петухов, Бертенсон, В. К. Мюллер, Н. К. Пиксанов), также мало останавливались на стихотворной деятельности Катенина; если им и приходилось касаться стихов его, то обыкновенно традиционно-пренебрежительно.

Только в 1919 г. Юрий Верховский в своей книге «Поэты пушкинской поры» находит место и для стихов Катенина.

Верховский причисляет его, наравне с Делярю и Василием Туманским, к типичнейшим поэтам-пластикам, главным представителем которых в пушкинскую эпоху был Дельвиг. Три стихотворения Катенина помещает Юр. Верховский в своей антологии, как лучшие. Среди них обращает на себя внимание «Рондо», то самое, над которым глумился и издевался Фаддей Булгарин.

Tempora mutantur!

КАТЕНИН В СТАРОСТИ.

„Каков в колыбельке,
таков и в могилку".

I.

По прекращении литературной деятельности, Катенин жил еще около тридцати лет, пребывая почти безвыездно в своем имении, в Костромской губернии.

Писемский в романе «Люди сороковых годов» в лице Коптина вывел Катенина, которого, как своего земляка-костромича, хорошо знал лично. В романе соблюдены малейшие биографические детали. Ошибок нет, встречаются только некоторые неточности, от которых несвободны бывают и самые добросовестные мемуары. Напр., произведение Коптина одно из выведенных в романе лиц называет по памяти «Кубок», с оговоркой: «кажется». У Катенина это стихотворение называется «Старая быль», но речь идет, действи-

тельно, о кубке, и название, приводимое Писемским, более подходило бы по существу.

В виду этого главы романа, посвященные Контину-Катенину, приобретают всю ценность мемуаров. Решительно нигде не видно, чтобы автор, ради типизации или из каких других соображений, в чем-нибудь отступал от действительности. Вот почему очень интересно познакомиться с этим ярким изображением Катенина у такого художника-реалиста, каким был Писемский.

«Желая развлечь сына, полковник [1]) сказал ему:

— А что, не хочешь ли, поедем к Александру Ивановичу Контину?

Павел некоторое время думал.

— К Контину?—повторил он.

Ему хотелось съездить к Контину и в то же время немножко и страшно было. Контин был генерал-майор в отставке и, вместе с тем, сочинитель. Во всей губернии он слыл за большого вольнодумца, насмешника и даже богоотступника.

— А что, он не очень важничает своим генеральством и сочинительством? — спросил Павел отца.

— Нет, не очень! Когда трезв, тогда, напротив, весьма вежлив и приветлив: ну, а как выпьет, так занесет немного» ..

---

[1]) Вихров. Его сын Павел, студент.

Дальше передаются подробности о ссылке Коптина и о дальнейшей его жизни, вполне совпадающие с теми, какие дают другие биографические источники. Любопытно объяснение, почему и как кончилась его служба на Кавказе.

«— О, поди-ка с каким гонором... На Кавказе то начальник края прислал ему эту, знаешь, книгу дневную, чтобы записывать в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества,—завтра там—отдыхал от сих мыслей,—таким шутовским манером всю книгу и исписал! Ему дали генерал-майора и в отставку прогнали...»

Далее рассказывается, как Вихровы посетили этого генерала-вольнодумца.

«Самого генерала... нашли в высокой и пространной зале сидящим у открытого окна. Одет он был... в черкеске... верблюжьего цвета, отороченной настоящим серебряным позументом и с патронташами на груди. Он был небольшого роста, очень стройный, с какой-то ядовито насмешливой улыбкой и с несколько лукавым взглядом».

Гостей принял он очень любезно.

— Потрудитесь отдохнуть, как говорят, а?.. хорошо? мило? — произносил он, как-то подчеркивая каждое слово и кидая, вместе с тем, на гостей несколько лукавые взгляды.

Павел догадался, что это была сказана острота, «потрудитесь отдохнуть».

— Часто употребляют такие несообразности!—пояснил он.

— Нет-с, не часто!.. вовсе не часто!.. возразил генерал, как бы обидевшись этим замечанием: вон у меня брат родной, действительно подписывался в письмах к матушке «примите мое глубочайшее высокопочитание!» — так что я, наконец, говорю ему:— «Мой милый, то, что глубоко, не может быть высоко!»

II.

Отметил Писемский и вольнодумство Катенина...

Генерал обратился к своему гостю:

— Ах, да, полковник!... я опять к вам с жалобой, на обожаемое вами правительство! Смотрите, что оно пишет: «Признавая в видах благоденствия»... Да предоставило бы оно нам знать: благоденствие это или нет...

— Разумеется, благоденствие, — подтвердил полковник.

— Ну, а я, признаюсь, немножко в этом сомневаюсь... Сомневаюсь немножко!— повторил Александр Иванович, произнося насмешливо слово: «немножко»...

Он начал ходить по залу и курить. Всем своими словами и манерами он напомнил Павлу, с одной стороны, какого-то умного, ловкого, светского маркиза, а с другой—азиатского князька».

Потом генерал обратился к сидевшему тут же, «как-то то на вытяжке и с почтительной физиономией», священнику из его прихода.

— Поведайте вы мне, святий отче, хорошо ли вы съездили с вашей иконой за озеро?

— Слава богу-с,—отвечал тот, сейчас же вставая на ноги.

— Это, изволите видеть,—обратился Коптин уже прямо к Павлу:—они со своей чудотворной иконой ездят каждый год зачем-то на озеро!

— Народ усердствует и желает того,— отвечал священник, потупляя свои глаза.

— И много вы исцелили слепых, хромых, прокаженных?— спросил его Коптин.

— Исцеления были-с,—отвечал священник, не поднимая глаз и явно недовольным голосом.

Коптин в это время на мгновение и лукаво взглянул на Павла.

— У меня написана басня-с,—продолжал он, исключительно уже обращаясь к нему:— что одного лаццароне подкупили в Риме англичанина убить; он раз встречает его

ночью в глухом переулке и говорит ему:— «Послушай, я взял деньги, чтобы тебя убить, но завтра день святого Амвросия, а патер наш мне на исповеди запретил резать, потому будь так добр, зарежься сам, а ножик у меня вострый, не намает уж никак!» Ну, как вы думаете—наш мужик побоялся ли бы патера, или нет?.. Полагаю, что нет!.. полагаю... если нужно, так и под праздник бы зарезал!»

Указанная здесь басня действительно имеется у Катенина и носит название «Предложение». Передавая ее напамять, Писемский ошибся только в мелочах, не имеющих значения. В басне дело происходит в Неаполе, городе лаццарони, а не в Риме, и в воскресенье, а не накануне дня святого Амвросия. Содержание же басни и смысл ее переданы совершенно верно. Это еще лишний раз дает возможность думать, что и все другое, рассказанное писателем о Катенине, отступает только в мелочах и несущественных подробностях, смысл же и тон всегда верны.

Несмотря на свое вольнодумство, генерал собирается строить храм для своих крестьян, только сомневается, разрешат ли ему, и поясняет это так:

«Оттого, что я здесь слыву богоотступником... Когда я с Кавказа приехал к одной моей тетке, она вдруг мне говорит: «Перекрестись, при мне!» Я перекрестился. «Ах,

говорит, слава богу, как я рада, а мне говорили, что ты и перекреститься совсем не можешь, потому что продал чорту душу!»

Приходский священник, когда генерал на несколько минут вышел из комнаты, замечает о нем:

— Ужасно как трудно нам, духовенству, с ним разговаривать..... во многих случаях доносить бы на него следовало! Теперь-то еще несколько поунялся, а прежде, бывало, сядет на маленькую лошаденку, а мужикам и бабам велит платки под ноги этой лошаденке кидать; сначала и не понимали, что он такое чудачит; после уж только раскусили, что это он патриарха, что ли, из себя представляет.

Этот факт удостоверен и Макаровым в его «Воспоминаниях». Макаров рассказывает, что среди мирных окрестных помещиков и духовенства генерал в отставке Катенин считался якобинцем и безбожником. Он любил вышучивать представителей православного духовенства, и вместе со своим братом Петром — нередко издевался над ними. Брат его Петр, напр., напаивал их до пьяна и потом припечатывал им бороды к столу сургучем. Один раз, в последние годы своей жизни, когда много пил, Павел Александрович разыграл даже кощунственную пародию на «вход господень в Иерусалим», приказав всех крестьян расставить по дороге и, по проезде

его на лошади, устилать ему путь ветками верб»...

Здесь изменение в деталях рассказа Макарова меняет, конечно, и самый смысл выходки Катенина. Конечно, это делалось в пьяном виде, но другому и в пьяном виде это не пришло бы в голову. Писемский сохранил и отзыв Катенина о Владимире святом «я не знаю—я ужасно люблю князя Владимира: он ничего особенно путного не сделал, переменил лишь одно идолопоклонство на другое, но красное солнышко, да и только».

III.

Еще две драгоценных черты Катенина сохранены Писемским: одна типична для передовых дворян александровской эпохи—отношение к военной службе; другая—личная, Катенинская—его неподражаемый декламаторский и мимический талант....

«Сей остальной из стан славных» того времени, когда наиболее образованной и интеллигентной частью русскаго общества было офицерство привиллегированных полков, и все честное и талантливое тяготело к нему. Катенин, естественно, отдавал решительное предпочтение военной службе перед всякой другой.

Для передовых людей 40-ых годов—и не только для передовых—это предпочтение должно было уже казаться анахронизмом.

На генерала никакого не произвело впечатления, что сын гостя—«студент Московского университета», но из вежливости он спросил:

— Куда же вы думаете из университета поступить?

Юноша отвечал, что, вероятно, в штатскую службу.

«Что нынче военная-то служба,—подтвердил и полковник:—пустой только блеск она один!

— А вот что такое военная служба! воскликнул Александр Иванович, продолжая ходить и выпивая по четверть рюмки:—я-с был девятнадцати лет от роду, титулярный советник, чиновник министерства иностранных дел [1]), но когда в двенадцатом году моей матери объявили, что я поступил в полк, она встала и перекрестилась: «благодарю тебя, боже,—сказала она: я узнаю в нем сына своего!»

О декламаторском таланте Катенина мы находим у Писемскаго интересные данныя.

Генерал стал читать перед студентом сцену Федры с Ипполитом, заявив, что напомнит слушателю «Васю Каратыгина».

---

[1]) Опять несущественная неточность: Катенин был чиновник Министерства Народного Просвещения.

«Александр Иванович зачитал; в дикции его было много декламации, но такой умной, благородной, исполненной такого искреннего, неподдельного огня, что — дай бог, чтобы она оставалась на сцене!... Произносимые стихи показались Павлу верхом благозвучия: слова Федры дышали такой неудержимой страстью, а Ипполит — как он был в каждом слове своем, в каждом движении, благороден, целомудрен! Такой высокой сценической игры герой мой никогда еще не видывал».

— Что, похоже? — спросил Александр Иванович, останавливаясь читать и утирая с лица пот, видимо выступивший у него от задушевнейшего волнения.

— Похоже, только гораздо лучше,— произнес задыхающимся от восторга голосом Павел.

— Я думаю — немножко получше! — подхватил Александр Иванович без всякого, впрочем, самохвальства: — Потому что я все-таки стою ближе к крови царей, чем мой милый Вася! Я — барин, а он — балетмейстер».

IV.

Через несколько лет Павел опять посетил Коптина и столкнулся с ним по вопросу о национализме. Коптин обрушился на поляков. Достоверность и этого факта, отмеченного

Писемским, подтверждается заявлением Катенина в письме к Бахтину об антипатии к полякам.

У Писемского Коптин горячится:

«Поляки, сударь, вторгались всегда в нашу историю: заводилась ли крамола в царском роде,—они тут; шел ли неприятель страшный, грозный, потрясавший все основы народного здравия нашего—они в передних рядах у него были.»

— Ну, и от нас им, Александр Иванович, доставалось порядком,— заметил с улыбкой Павел.

— Да вы-то не смеете этого говорить, понимаете вы. Ваш университет поэтому, внушивший вам такие понятия, предатель! И вы предатель... предатель всего русского народа, вы изменник всем нашим инстинктам народным.

— Ну, нет...— воскликнул в свою очередь Вихров. — я гораздо более вашего русский, во мне гораздо больше инстинктов русских, чем в вас, уж по одному тому, что вы, по вашему воспитанию, совершенный француз.

— Я докажу вам, милостивый государь, и сегодня же докажу, какой я француз,— кричал Коптин.

И Коптин повез всю компанию «к мужикам на праздник», и для доказательства, что он русский, заходил в избы и чокался и вы-

нивал с мужиками, потом на улице начал кидать в народ деньги, сначала медные, потом серебряные, наконец бумажки.

Совмещение политического вольнодумства с государственным национализмом — очень характерная черта эпохи (Грибоедов, многие декабристы и т. д.), с тех пор уже не повторявшаяся.

Еще ожесточеннее были у Писемского с Катениным споры литературные. Здесь было столкновение отцов и детей. Писемский был горячим поклонником Гоголя. Катенин и слышать не хотел об этом кумире молодежи.

По свидетельству Бориса Алмазова, будучи студентом, Писемский читал Катенину произведения Гоголя. После чтения у них были горячие споры. «Ваш Гоголь дрянь, гадость!» кричал в каком-то ожесточении Катенин [1]).

В романе Писемского сохранились некоторые любопытные подробности этого спора.

В защиту Гоголя студент попробовал сослаться на юмор любимого писателя. Катенин потребовал определения, что такое юмор.

— Юмор — слово английское, отвечал Павел несовсем твердым голосом: — оно означает известное настроение духа, при котором человеку кажется все в более смешном виде, чем другим.

---

[1]) Сочинения Алмазова. III, 103.

— Значит, он сумасшедший! — закричал Александр Иванович: его надобно лечить, а не писать ему давать. В мире все имеет смешную и великую сторону, а он там, каналья, наваракеил каких-то каррикатур.

Убежденный в вечности и незыблемости воспринятых им однажды основ искусства — что и дало повод иным причислять его к ложноклассикам — Катенин был всегда в раздоре с духом времени. Вечно враждебно относившийся к своему поколению, тем более отрицательно должен был он отнестись к литературным поколениям, сменившим пушкинское. К прежней борьбе упрямого книжника-индивидуалиста присоединилась борьба отцов и детей.

По уму, талантам и образованности Катенин, как замечает один из современников, среди окрестных помещиков казался «гигантом среди пигмеев», и не только среди помещиков. Но самое удаление его от литературной деятельности, и связанных с этим литературных дрязг, в деревню, в глушь, к своей великолепной библиотеке, свидетельствовали, по мнению некоторых, о росте души: суету современности он променял на беседу с величайшими умами всех времен и народов. Но к этому необходимо добавить, что, не имея впереди никакой определенной цели, он постепенно начал опускаться.

V.

Когда он умер (1853 г.), Плетнев написал лестный некролог, где говорил о Катенине:

«От природы получил он много блестящих даров, которые в его молодости привлекли к нему внимание замечательнейших его современников. Он обладал самою счастливою памятью, живым воображением, тонким и острым умом, врожденным вкусом и твердым, благородным характером... Он был поэт не только в стихах, но и в разговоре и действиях... Он участвовал в сражениях при Бородине, Люцене, Бауцене.

Храбрость его была таким же врожденным его качеством, как и быстрота умственная в делах литературных».

Редко бывает, чтобы в небольшом некрологе писателя так много внимания уделялось его личным качествам и способностям: видно и впрямь они поражали.

При всех своих блестящих способностях, Катенин угас втуне,

> Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
> Ни гением начатого труда...

Единственно, чем он принес осязательную пользу, это своим искусством декламации. Самую бесцветную вещь умел он прочесть

так, что она начинала казаться слушателям значительной. И если нам смешно слышать, что он создал Пушкина и Грибоедова, то в том, что ему обязаны развитием своих драматических талантов Каратыгин и Колосова, что он передал искусство мастерского чтения Писемскому, который в этом отношении среди современников своих почти не знал соперников,—во всем этом—несомненная правда. Человек только похожий на значительную фигуру, похожий до того, что мог ввести в заблуждение даже юных Пушкина и Грибоедова, хорошо мог учить только сценическому искусству.

Творчество Катенина было головным: живой души, сочувствия тому, о чем говорится, почти не видим. Этой своей придуманностью, стараньем «казаться», а не «быть», Катенин подходит к поэтам 18-го века... и Пушкин был прав, когда однажды заметил о нем: «он опоздал родиться»... И читатели были правы, восторгаясь поэзией Жуковского и Пушкина и оставаясь равнодушными к творчеству Катенина, который недаром мог быть только хорошим актером и декламатором. Подделка, грим чувствуются во многих его произведениях. В своих балладах он подлаживался под наивное народное миросозерцание, в частности под крепкую мужицкую веру, будучи сам до мозга костей скептиком и вольнодумцем.

Если Пушкин, воспитанник Вольтера, мог дать нам поэтическое воспроизведение народных взглядов и поверий, так, ведь, он не осуждал их, не презирал; в его всеобъемлющей душе нашлось место и для сочувствия наивному и непосредственному. Ведь этот поэт, назвавший в молодости Вольтера «поэтом в поэтах первым», не был только вольтерьянцем: минутами он сам, как известно, доступен был суеверию, как его Моцарт. Катенин же любил искусство как Сальери, «упрямо и надменно».

Отсюда книжность Катенина и отсутствие живых истоков для творчества.

Всякое признание обогащает душу, всякое отрицание,—если только оно не имеет формы литературного отталкивания, необходимого для дальнейшего роста,—ведет к душевной нищете. Пушкин радовался всякому мелкому дарованию. «Натура Пушкина», писал князь Вяземский, «была более открыта к сочувствиям, нежели к отвращениям». Для Катенина, как и для Сальери, существовали только гении: и сами они мечтали стать непременно гениями, на меньшем они не мирились. Отсюда их высокомерие, столь чуждое настоящим большим поэтам от Державина до Блока: только маленькие и самолюбивые люди становятся на эти цыпочки.

Но если забыть несоразмерность претензий и видеть в Катенине только второстепенного

поэта Пушкинской эпохи, дело сразу меняется. Кроме стихотворений, рекомендованных Пушкиным, можно указать несколько с характерными названиями: „Мадригал", „Эклога", „Строфа", „Сонет", „Рондо", „Октавы". Очевидно, поэт ставил себе чисто формальные задания, что должно привлечь к нему внимание наших современников.

Популярным Катенин никогда не будет, но, может быть, к нему можно применить слова другого поэта:

> ... Как нашел я друга в поколенье,
> Читателя найду в потомстве я.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Судьба плеяды 7

Плетнев П. А.

Личность 47

Мотивы и настроения 78

Катенин П. А.

Молодой Катенин 93

Стихи Катенина 120

Катенин в старости 167

Обложка работы художника *П. В. Сивкова* воспроизводит рамку и виньетку из обложки книги Е. Баратынского „Эда" и „Пиры". М. 1826 г.

Концовки в тексте взяты из 1-го издания „Стихотворений Н. Языкова". 1833 г.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

На 21 стр. напечатано: 1725; надо: 1825.

Ив. РОЗАНОВ.

Пушкинская плеяда.

1. Старшее поколение. Изд. «Задруга». М. 1923.
2. Вяземский. (Печатается в издательстве «Колос»).
3. Дельвиг. (Приготовлено к печати).

4—6. Боратынский, Языков и друг. (Приготовляется к печати).

Того же автора.

Русская лирика. От поэзии безличной к исповеди сердца. 413 стр. Изд. «Задруга». М. 1914. (Разошлось. Готовится новое издание).

Пушкин и Вяземский. К вопросу о литературных влияниях. М. 1915.

Пушкин и Грибоедов. Статья в студенческом «Пушкинском Сборнике», под редакцией А. Кирпичникова. М. 1900.

Отзвуки Лермонтова. 2 статьи в сборнике «Венок Лермонтову». Издание В. Думнова. М. 1914.

Певец молчания (о стихотворениях Тургенева). Статья в сборнике, под ред. И. И. Розанова и Ю. М. Соколов «Творчество Тургенева». Изд. «Задруга». М. 1920.

Книга о Некрасове. (Приготовлена к печати).

Поэты серебряного века. (Готовится).

Очерки из истории литературных репутаций. (Готовится).

Очерки из истории формальных достижений в русской поэзии. (Готовится).

Кооперативное Т-во „ЗАДРУГА"
МОСКВА
Крестовоздвиженский пер., д. № 9.

LBAp'30

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00034997905